

Р28014

ЕВГЕНИЙ

ФЕДОРОВ

УРАЛЬСКИЕ

ПОВЕСТИ



ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВ
УРАЛЬСКИЕ
ПОВЕСТИ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ленинград

1941





ШАДРИНСКИЙ ГУСЬ

сатирическая повесть



ГЛАВА ПЕРВАЯ

О том, как помрада Шадринска дошла стореда, как тараканы в поле удирали и что из этого вышло

17.. года, в июльскую жаркую пору, в сухомель, перед бойким базарным днем, в доме шадринской калачницы Параськи Пушкиной загорелась сажа в трубе. И надо быть греху: дежурный пожарный солдат Сысойка, сын Григорьев, разморенный полуденной жарой, заснул на казанче и не видел, как занялась кривобокая хибара калачницы. Городской брандмейстер, тоже инвалидный солдат в отставке, унтер-офицер Ильюшка Жуков под самый Ильин день, не дождавшись столь светлого часа своего тезоименитства, загодя с товарищами с вечера напизался и теперь лежал на лавке разбитый, с омраченным челом, к которому родная баба прикладывала припарки из кислой капусты. Брандмейстер выдул жбан огуречного рассола

и с налитым брюхом предавался созерцанию, почему и был глух и нем.

Сухая, ветхая изба калачницы запылала, как свечка. И случись тут второй грех: с поля подул легкий ветер — и от калачнической горящей избушки, как перья из петуха, посыпались на слободу искры и искрицы, и с того пошло крушить город. Одним словом, когда проснулся на каланче от криков пожарный Сысойка, огонь, как корова языком, слизнул пол-Шадринска.

Сие великое несчастье зело омрачило думы шадринского воеводы — секунд-майора Андрияшки Голикова. Жил-был городишко, все шло по чину, испокон веков заведенному порядку, и воеводе не было особых на то хлопот, а тут нуте, выворачивайся!

Целый день в воеводскую канцелярию не закрывались двери: приходили с челобитьем погорелые хлебники, калачники, харчевники, масленники, ямщики и их женки, каменщики, плотники, швальники и прочие низкого сословия люди и богадельные нищие мужска и женска полу. Доходи тут воевода до всякого положения дел основательно! К тому же купец Глотов на всю соборную площадь хулу на воеводу вознес:

— Хаууга! Мы ему целковые на всякое городское благочиние отпущали, а где оно? Пожарные бочки-то рассохлись, опять же сиротский дом...

На беду гораздо изворотливый писец и правая рука воеводы Епишка зашил горькую и две недели не вылезал из царского вружала. Стерял воевода сон, ворочался с боку на бок, охал. Толстая воеводица зло торкала воеводу в бок: «Ворочаешься, как медведь в берлоге.

Спа тебе, отец, нетути. Погорели, ну и пес с ними! Строиться будут, — глядишь, воеводиной мошне прибыль».

Знает воевода, что оно так и будет, не иначе. Но как показать свое попечение о посадских людешках перед начальством? А потом сильно струсил воевода: у Глотова подлинно медная глотка. Чего доброго, беду накликает.

Надувался на ночь воевода квасу — изжога проклятая мучила, — ложился в постель, а сон не шел. Все думалось:

«Где ты был, воевода? — вдруг спросят. — Почему пожарная команда в таком деле и впрямь «козла пасла?» Чего доброго, доведутся, что не все казенные деньги идут по своей дорожке. «Куда девались государевы денежки, воевода?» Что на это им скажет Андрюшка Голиков?

Сумрачный ходил воевода по приказной избе, прикидывая, как дело повернуть к своей выгоде: Не ведая того, восводиха передала супругу новые знамена, и в тот же день воевода града Шадринска писал Правительствующему сенату доцесенпе, в коем доподлинно начертал:

«Иуля 20 числа на память пророка Пли. волею божьею, половина града Шадринска выгорела дотла и с пожитками. А из достальной половины града люже неудержимо ползут тараканы в поле, и видно, что быть и на сию половину града гневу божьему, и долго ль, коротко ль, а оной половине града гореть, что и от старых людей примечено. Того ради Правительствующему Сенату представляю: не повелено ли будет жителям града пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину града зажечь, дабы не загорелся град не во-время и пожитки бы все не пожрал пламень».

Сколько делов задал шадринский воевода Андриюшка Голиков Правительствующему сенату! Три года сиднем заседали древние сенаторы, искали вразумительное толкование: предусмотрено ли тараканье знамение законом? Если да, то как быть с градом? Если нет, то что с воеводой? На четвертый год попало то донесение к докладу самодержавнейшей императрице Екатерине Алексеевне. Прочтя оный доклад, бывшая в благожелательном настроении императрица улыbnулась, потом рассмеялась, а потом и вовсе хохотать стала. Курьез! Взяв в руки золоченое перо — губы ее подергивались от смеха, на щеке дрожала мушка, — царица начертала резолюцию: «Любопытно видеть сего шадринского гуся. Каков!»

Еще год кружили свои бездумные головушки сенаторы: «О каком гусе идет речь в царском слове? Доподлинно известно, что гусь есть гусь, и притом надворная птица. Но, может, то царское слово начертано иносказательно? Но опять же можно ли иносказательно понимать мудрые слова своей государыни? Не святотатственно ли сие будет?»

Порешили сенаторы отписаться сибирскому губернатору генерал-поручику Денису Ивановичу Чичерину. Перед тем, по весне, сей губернатор получил из Санкт-Петербурга «выговор» за то, что штрафные деньги «за небытие» у исповеди собираются неуспешно. От того генерал-поручик был крут, зол и нетерпеливо самовластен.

На пятое лето Правительствующий сенат отписал губернатору Сибири в город Тобольск: «Понеже направляется сие для вашего разумения и совершения монаршей воли».

Пылкий и крутенький нравом Денис Иванович Чичерин в единождую минуту начертал: «Повелеваю шадринскому воеводе всемилостивейшей монархини волю исполнить непременно и безотлагательно».

Тем часом, покуда шло воеводино донесение Правительствующему сенату, Шадринск вновь отстроился, а тараканы и того ранее повернули в город и водворились в знакомых запечьях посадских изб. Воевода, по обычаю, на сем деле набил мощну туго, жил безмятежно и сытно. И тут в самую пору такой благодостной жизни разразился гром среди ясного неба: пришла губернаторская грамота.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О том, как шадринский писец Елишка к гусиному делу пристал

Было то на масленой неделе. Великая шла гульба и пьянство. У воеводы, бургомистра, ратманов, именитого купечества шли знатные пиры. Много было перепито, переедено, немало бород повыдрано, skulls посворочено, многие блпнами насмерть объедались. Воеводская канцелярия на всю масленую закрылась.

В прощенное воскресенье с полудня воевода с гостями обжирался. Воеводиша со стряпухой то и дело метали на стол: блины, румяные пироги с мясом, оладьи, курники, зайда в лапше, косачей с чесночной подливкой, кулебяки, студни, гусей с кашей. Ели гости с великой натугой, подгоняемые жадностью, запивая обильное добро романеей и мушкателем. Когда становилось

невмоготу чреву; гости выходили на задворок и, опершись в тын, совали пальцы в рот. После того опять шли, облегченные, на воеводский пир.

Воевода Андришка Голиков сидел в переднем углу краснорожий и брюхатый. На воеводе кургузый мундир, при шпаге. По правую руку — юркий писец Елишка. Минувя блины и кулебяки, писец больше ударялся по зѣлюю. Был он хмелен и криклив. Бия себя в грудь, шипел:

— Елишка, конечно, не пишка, по умный, сукин кот, писаришка. . .

И смеялся, довольный собой, дробным смехом.

В ту пору прискакал нарочный с губернаторским пакетом и прямо шасть к воеводе: «Самому воеводе, и безотлагательное».

Прочитал воевода и ахнул, лицо сумеречным стало. Ушел в спальню, стал перед киотом и, рыгая, стал класть крестное знамение:

— Что-то будет теперь, царица небесная? Въяве вижу, о каком гусе идет речь. . .

Отмолвившись перед заступницей, воевода наказал дворовым людям извлечь Елишку из-за стола и отливать водой:

— Лить самую студеную, пока в ясный разум не придет. . .

С Елишки, как с борзого, стекала студеная вода. По телу от стужи пошли пупырышки. он посинел и лязгал от дрожи зубами, но взор становился ясным и твердым. Елишка приходил в себя.

Писчик Гераська и молоденький подкوبيст держали Елишку под руки. Власы на Елишкиной голове поднялись бурьяном в диком поле. Воевода сунул под нос Елишки грамоту:

— Чти!

Епишка складно, не торопясь, прочел царский указ и уставился на воеводу повеселевшими глазами:

— Ловко!

— Что ловко? — насупился воевода. — Реки мне: кого разумеют под гусем?

Епишка хитро посмотрел на воеводское брюхо, сморщился от смеха, как печеное яблоко, но, однако, сдержался и пошел скороговоркой:

— Трудно думать, воевода, о каком гусе идет речь... Дополнино мне от дотошных людей известно, есть гуси бойцовые: то арзамасские и тульские. Арзамасские белоснежные, плюсна и лапы оранжево-желтые. А ежели на клюв взор кинуть, то клюв ложеносый, а то крутоносый. шея как у лебедя, красиво изогнута, спина вроде вашей, сударь, прямая и широкая, грудь тоже полная и круглая... Тульские — те серые, или глинистые, плюсна и клюв. токмо у арзамасских... А то есть гусь холмогорский, решетилловский.

Воевода крикнул, повел недовольно плечами:

— Ох, Епишка, остудись! Закрой хлебало! Град наш сибирский, и в краях тутошних не слышно что-то арзамасских, а то тульских и прочих гусей. Дополнино то известно всемиловитивейшей государыне. Потом возьми в руки очи и чти, что начертано державной рукой монархини нашей.

Воевода поднял толстый перст и зашел осипшим голосом:

«Любопытно видеть сего шадринского гуся. Каков!» Не юли, сказывай, приказная крыса, как из беды вынырнуть. Сударь ты мой, батюшка Андрей Васильевич, дело большое и неслыханное. Прикажи перво-наперво похмелить

Епишку, разреши выспаться, а к утрию Епишка подумает, как быть.

Делать нечего, пришлось воеводе согласиться. Епишка опохмелился, завалился спать. Воеводе ж не до сна. Неужели тут Епишка спасует?

На утрие в воеводскую канцелярию спозаранку тихо вошел писец. На сей раз Епишка причесан, морда лисья, бороденка мочальная. Просунул в дверь Епишка крупный нос, — он zelo красный, — зашмыгал, хитрыми глазками оглядел, есть ли воевода.

Воевода водружен за красным столом. Взор мрачен, лицо бабье — оплыло. Епишка переступил порог, подмышкой он держал белокрылого гуся.

Воевода пасунился, побагровел, писчики переглянулись: «Что такое затеял Епишка с перепую?»

Писец спустил гуся на пол.

Гусак, почувствовав волю, хлопнул крыльями, подтянул лапы и загоготал. Важно переваливаясь, гусак подошел к воеводскому столу и поглядел хитрыми бусинками глаз на секунд-майора.

— Вот, — потирая руки и хихикая, изрек Епишка. — Вот он, гусь шадринский. Каков! Зрите! Есть гуси астраханские, арзамасские, холмогорские, китайские — что они гуси значат? Голиафы рыхлые, один пуп да сало. Сей гусь наш не велик, не салец, но особь статья, кто толк в нем разумеет. Знатен! От шадринский гусь! Его-то императорскому величеству любопытно зреть. Каков кавалер!

— Га-га, — загоготал гусак.

Писец склонил набок голову и умильно посмотрел на воеводу:

— Подтверждает... Известно вам, сударь, что гуси Рим спасли во время оно, а в наше...

У воеводы лицо прояснилось. Енишка сгреб в пятерню свою мочальную бороденку и повел совет:

— Мысляю я, сударь, поелику угодно государыне нашей узреть сего шадринского гуся, нарядить его с гусынями с отписной грамотой в город Санкт-Петербурх. В той отписной грамоте указать отметины сих гусей, их великую годность, прописать, что нигде, опрочь Шадринска и Челябы, сей гусь жительства не имеет. При той отписной доводлино начертать, на что сия надворная птица годна. От, к примеру, так...

Енишка водрузил на мясистый красный нос очки.

Писчики в горстки прыснули: ох, умора!

Воевода крякнул, поглядел грозно на писчиков:

— Чего ржете, как жеребцы стоялые?.. Чти, Енишка, что там еще?

— Так вот, сударь, намыслил я в той отписной доложить, что и как. И коли разумеющий человек будет при государыне, непременно сообразит, что к чему. Вот первое, батюшка. Гусь шадринский на вертеле. Сего потрошеного гуся опаливают соломкой от могущих остаться маленьких перышек, остатнего пуха, моют, натирают солью снаружи и в утробе, обсыпают тертым белым хлебом и жарят на вертеле, пока кожица не зарумянится и будет хрустка на зубах...

— Ох-х! — хватился за толстое брюхо секундмайор. — Ох-х, дьявол! Сей гусь, подлинно, под чарку несравним...

Писец сладко вздохнул:

— А то гусь фаршированный, с трюфелями. То особь статья, и разуместь надо особо. Что значит фарш? Фарш сей стряпуется так. Берется кусок нежирной свинины, столько же телятины, изрубляя мелко, потом добавляются три яйца, три тертых булки, потом натертой цедры с пол-лимона, несколько лжиц сливок, щепотку соли, перцу, мускатного ореху, четыре изрубленные и тушеные в красном вине трюфеля, а опричь всего немного мадеры... Вот что сей фарш значит! С гуся все кости вон, и в утробу его кладут фарш, после чего зашивают и жарят в масле. Пока сей гусь жарится, хозяйка, усердствуя, поливает подливкой... А благовоние, сударь, о-о!.. — повел носом писец.

— Ох-х! — вздохнул воевода. — Грех один...

Епишка закатил под лоб глаза. Вздрагивая поздрями и принюхиваясь, как бы чувствуя запах жареного, он продолжал:

— Вот гусь готов, тогда снимают с противня, а после того с соуса снимают жир, проваривают со стаканом мадеры и с несколькими нарезанными трюфелями, подают этот соус к гусю...

— Ох, бес чистый!.. Смутьянщик, великий-то пост!.. После того романей стакашку. Как ты думаешь, Епишка?

— После того, сударь, чего угодно, у кого на что чрево зудит. А то вот еще гусь с грешневой кашей. Тут-таки опять своя статья. Крутую грешневую кашу напополам смешивают с луком. А лук тот добро поджарен на масле. После того солят, перчат, подливки добавляют, чтобы сух не вышел. А как обжарится...

— Ох-х, хватит, бес, хватит! — хлопнул ладошкой по столу воевода.

— Га-га-га, — загоготал гусь.

Воевода закрыл глаза и вздохнул:

— А то еще гусь с капустой. Ох, грехи наши тяжкие!.. Беспременно сегодня ладить клетки, двенадцать самых ни на есть лучших гусей обрядить в дорогу при отписной грамоте. Столь же гусей отрядить с отписной к губернатору... Ох-х, как зудит!..

Писчики, склонив над бумагой головы и делая вид, что усердствуют над письмом, глотали обильные слюны.

Весь день на посадь Епишка с будочником по посадским дворам гонял гусей. Отбирал он птиц бойких, крепких и хозяевам ни синь-пороха за птицу не сулил:

— Ты веселись, дурень, к самой царице твой гусь на поклон поедет... Другой бы на колени бухнулся, а ты орешь, суматоха!..

Суматоха подлинно шла на посадь. Над улками, над тыном летал пух, гуси гоготали, хлопали крыльями, пускались в лёт, — тогда будочники бегали за ними и сшибали их алебардами... И не токмо дюжину гусей обобраз старательный Епишка, но, почитай, сот два...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С описанием начала путешествия гусиного обоза в Санкт-Петербург и о том, как гуси в мазур-польке толк уразумели

На первой же неделе великого поста выехал Епишка из града Шадринска в далекий Санкт-Петербург. Еще лежала знатная уральская зима. Парчой блестяли снега. Нахмурившись, стояли оснеженные ельники. Поскрипывал под полозья-

ями мороз. В передней кошеве в дюже доброй шубе с воеводина плеча ехал Епишка. Рядом с ним восседал рыжий писчик Гераська. Писчику от воеводы дан строгий наказ: «Давать Епишке на день не боле косушки, дабы ни себя, ни гусей не стерял. А после того как дело будет облажено, напоить писца в царском кружале до положения риз. Пусть знает, воевода добро помнит». За первой кошевкой шли широкие розвальни с клетками. В клетках укрыты соломой и сермягами гуси. Вozy шли чинно, дабы не трясти царских гусей.

Искрились оснеженные поля, звонко-позывно побрякивали колокольчики под дугой. Писец Епишка дремал: укачивали просторы. За просторами встали Уральские горы. Пошли места гористые, бездорожные, лесная глухомань, насельники по починок, погостам и сельбицам — раскольники. Зима в горах стала студенея. Глубокие сугробы полегли на дороги, навеела курёвушка-позёмка: ни проходу, ни проезду. Насупилось краснолесье, а ночами пз-за него вставал меднобагряный месяц, голубизну клал на оснеженные поля. По селитьбам брешут псы, побрякивают колотушками караульные. Хмуρο чернолесье, потрескивает от мороза сухое дерево. У казенника часто и протяжно воют волки.

Морозно, колко. Завейными дорогами и запутками едет гусиный обоз. Отступают назад бревенчатые сельбища. Избы, те, что у дороги сидят, толстозады, лупоглазы, бычьи пузыри в окнах, хвастливо подняли гребешки крыш, а на наличниках окон, карнизах узорчатая резьба, разукрашенные петушки. Сдобно пахнет дымком: топят печи. Над дворами высоко в небе

гычутся журавли колодезные. Из ворот выбегают бабы, глядят вслед проезжему; за санями до околицы гонятся остервенелые, нелюдимые псы.

Бегут назад бугры, сугробы, перелески, погосты, румяные веселые бабы и девки у ворот, псы сторожковые, занесенные снегом поскотины. У ветхого бревенчатого мостика, у незамерзающих ключей мелькнула деревянная церквушка. Над крестом вьется воронье. Кругом серые могильные кресты, заснеженный погост. И вновь сугробы, убаюкивающее поскрипывание саней, и дрема овладевает Епишкой.

Мысли сонны, глаза устали зреть бесконечные снега. Дремлет знатный шадринский писец Епишка. Легче, ямщик, на ухабах, осторожней, береги гусей!

Ехал писец Епишка знатно, на постоянных много пил, сладко ел, за все не платил. Всем тыкал губернаторскую грамоту, а в ней было прописано: «По указу ее императорского величества везет служивый человек Епихидон, сын Амбросиев, к царскому столу шадринских гусей».

Перед такой бумагой все отступали: свяжись с государевым человеком — заплачешься.

В Перми гусиный обоз остановился на монастырском подворье. Игумен Анолинарый со свитой встретил Епишку, проезжим отвели лучшие горницы в монастырской странноприимной. Гуси сдородились, осоловели от невиданного пути, ленивыми лежали, плотно улегшись в клетки, и ничего не ели. Старший гусак-гусащина сонно поглядывал на Епишку и от еды отказывался. Встревожилось Епишкино сердце: столько вез — и вдруг передохнут. Игумен

Аполливарий, с военной выправкой старик, сродни был Епишке по замашкам, — в кои годы он служил в гвардии и тож был zelo изрядный забулдыга. Позвав Епишку в сокровенные покон, к игуменскому столу, спросил строго: «Пригубляешь?»

На столе поблескивали наливочки, стояли соленья, балыки, осетринка. У Епишки в горле запершило, дух заняло. Закатил Епишка глаза и изрек сладко:

— Блудлив...

Двое суток после того предавались игумен и писец пощному и дневному бдению. За трапезой вспомнил Епишка и покучился монаху:

— Не жрут окаянные...

Тогда велел ударить игумен в колокола, поставили гусей среди собора и стали служить молебен о здравии царских гусей. Но горе — у Епишки сердце екнуло, — не жрали гуси. Молитвословие провозглашал игумен, святой водой кропил, но гусей одурь обуяла, только гусак-гусачина в самую назидательную минуту поднялся в клетке и загоготал на всю церковь, словно изрекал:

— Га-га-га!.. Какого же вы чорта ваньку ломаете?!.

Наехал в монастырь пермский воевода, в мундире, при шпаге, по всем воинским артикулам честь гусям отдал. Закручинился воевода, когда прознал, что не жрут гуси.

«Как, в его граде, да, борони бог, попередохнут царские гуси, что скажет тогда государыня?»

Вызвал воевода гарнизонную музыкантскую команду. Выпустил гусей на монастырский двор — благо весна приспевать стала, — махнул

воевода платком музыкантам: «Играй, сукины дети!» Оркестр заиграл мазур-польку. Ох!

Поднял гусак-гусачина голову, потянулся и загоготал весело. За ним гусыни залопотали. Глянул Епишка и возрадовался: сияют бусинки гусиных глаз. На дворе насыпали отборного пшена, поставили корыто с емтой.

Музыка веселей ударила, а гусак уж совсем отошел и стал клевать и на музыкантов радоваться... Монахи черным гуртом стопились. Диву дались: «Гляди, что музыка делает». Один, что в задних рядах, подальше от игумена, широким гузном затряс: «Эх, знатно, ноги сами в пляс рвутся...»

Да опомнился: великий пост и монашеское звание велют блюсти лицемерие.

Воевода подобрел, повеселел, расправил бороду и хватъ игумена по пузу (забыл, что дело идет не в сокровенном игуменовом покое):

— Что, чернорясник, и они, чать, в мазур-польке толк знают...

Игумен отвел глаза в сторону: «Ох, грехи наши тяжкие!...»

В понизовье Камы гусиный обоз на колеса стал. В тепле, при вешнем солнце, чуя воду, гуси целый день перекликались...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О паштете страбурском и о слабости гусиного желудка

Но оставим на малое время гусиный обоз и мыслню перенесем в град Тобольск, в губернаторскую вотчину. Губернатор генерал-поручик Денис Иванович Чичерин большой ба-

рин был, особо балован императрицей Екатериной Алексеевной, у которой пользовался большим доверием, и определен был в сибирские губернаторы в 1762 году. Людская молва приписывала екатерининскому вельможе великое богатство и царственную щедрость. Так ли это было, на деле никто не ведал. Доподлинно известно только, что генерал-поручик поразил Сибирь своим вступлением в ее пределы. Одних гайдуков, скороходов, конюхов, поваров, прочей служки приехало с ним человек ста полтора. Ехал он в богатейшей, изукрашенной гербом карете, вираженной в двенадцать черных коней цугом. За ним следовали приближенные из лиц военных и штатских. . .

С первого дня водворения сибирский губернатор стал задавать званые обеды; к его столу наезжало ежедневно не менее как по тридцати сторонних особ из разных сословий, а в нарочитые дни и более.

Меж тем той порой, пока шел обоз Епишки в град Санкт-Петербурх, губернатора сильно заняли шадринские гуси. Со всего Тобольска скликал он баб-стряпух, из Шадринска грозным наказом требовал от воеводы знаменитую шадринскую гусятницу Купрениху. Допрежь Купренихи никто лучше не мог откорм гусей ставить, потрошить их и блюдо готовить. Созвал губернатор стряпчее совещание. Два дни бабы спорили, осыпили и охрипли от ругани. Шадринская Купрениха сденилась с тобольской Андронихой — каким орехом гуся откармливать: то ли грецким, то ли волошским? Опять же — какой откорм должен статья: сальный, полусальный или мясной? Ежели сальный, то опять же он самый может быть насильствен-

ный и самоклевым. У баб дело дошло до кулаков. Но тут в стряпчую ввалился Денис Иванович в бешмете и с арапником в руке. Бабы пригнали.

Порешил генерал-поручик: дело весеннее, не обычное для откорма гусей, который ставится в сентябре, а потому повернуть его так, чтобы добыть жирную гусиную печенку для паштета.

Весь великий пост возились стряпухи с шадринскими гусями. Каждого гуся усадили в особую скринью, гуся не двинуться. Для откорма же вводили в гусиную глотку воронку и засыпали зерно. Когда не лезло, проталкивали то зерно палочкой. Баба Купрениха, та катышки из теста лезла и толкала в гусиную глотку. Последних две недели гусей позаникли в парусиновые мешки и подвесили в сарайчике на матицах. Из мешков, как белые пожарные рукава, высунулись на длинных шеях гусиные головы. Денис Иванович самолично обходил по утрам гусей и своим генеральским пальцем проталкивал отяжелевшим от жира гусям в горло волошские орехи в скорлупе...

Тут и пора приспела гусей резать. Перед самой Святой с губернаторского двора много гусиного пуха полетело над тобольскими улицами. Весна была дружная и многоводная. Генерал-поручик, поглядывая из окна на вздувшийся Тобол, думал: «Как там Енишка с гусями управляется? И как на то посмотрит всемиловейшая государыня?»

Позвал генерал-поручик всех стряпух, обглядел всех ласково и спросил:

— А кто из вас, бабы, может приготовить паштет страсбургский, да настоящий?

Молчат бабы, переглянулись. Иное дело — гусь жареный, гусь пареный, гусь с кашей, с капустой, с яблоками — все все известно. А вот паштеты — новое дело. Тут выступает шадринская Купрениха и говорит:

— Я знаю, батюшка губернатор.

Тут уж стряпухи загалдели:

— Брешет, бесова баба, где ей знать?!

— Знаю! — топнула ногой Купрениха.

Генерал-поручик экзамен учинил бабе:

— Скажи, что выдать потребуется для паштета?

Купрениха глаза зажмурила и, как солдат на ученье, вышалила:

— Десять гусиных печенок, фунт сливочного масла, две луковицы, фунт телятины, десять яиц, фунт шипку, мускатный орех, белого хлеба, два рыбчика, четыре трюфеля, мадеры, соли и перцу по вкусу...

— Ай да баба! — ахнул генерал-поручик. — Молодец! Отколь столь хорошо ведаешь про сие?

— В служках была у немчурь, пробирных дел мастера, что при Челябинской горной конторе дела вершил.

— Добро, стряпуха! — довольно крикнул губернатор. — Берись за дело, да проворь повкусней, немцы в сих делах толк ведают...

...В самый горячий момент, когда гости подсели к шипучему, наказал Денис Иванович лакею подать паштет. Многого едали гости, но такой снеди и во сие не предвиделось. Тобольский митрополит Варлаам, пригубив шипучки, услаждался паштетом. Рыжий толстый митрополит чмокал обмасленными губами: «Таёт, свят господь, таёт во рту, как облачко в небе...»

Генерал-поручик счастлив был и сиял весь: не токмо одни медали, кресты и регалии лучистый свет испускали, но и генеральское лицо блестело молодым месяцем...

А в ту самую пору, в которую творились дела в Тобольске, исец Еишка миновал Саранчу, Казань, Арзамас, Москву и добрался-таки ю Новгорода. В Новгороде сделал Еишка остановку, дать роздых гусям: отошли бы с дороги. От Москвы, где шел на Санкт-Петербург людный тракт, впереди Еишки летела молва: «Едет-де из Сибири гусиный обоз, да из-под самого Шадринска, да везут в нем гусей, да не простых гусей, а самой царице». Новгородский губернатор, обожатель императрицы-матушки, как завидел гусиный обоз на Волховском мосту, велел в колокола вдарить и встречу выслать. Еишка к той поре исполнил на добрых хлебах, борода погуще стала и походка поессанистей. Еще бы, киса была тугим-туго деньжищами набита, — в долг понабирал писарь в дороге, — на посулы он щедр был и всем шлеп были и небылицы, обещал замолвить слово перед ликом государыни. Вот голько с гусями добраться, а там Еишка вспомнит их, добрых людей, которые из усердия ему не жалели...

Новгородскому губернатору, почитай, было за восемьдесят годов, и с разума старичок уже выжил. Сухонький, морщинистый, как кора на сосне, он тер сухие лапки, хихикал и щелеявил:

— Обязательно гусей доштавить в благородное шобрание... Обязательно... Гуши Рим шпашли... Благородная птица...

Гусей доставили в благородное собрание. Они расхаживали по паркетам, поскользнувшись.

падали, гоготали. Дамы окружили их, рассматривали в лорнетки и кормили орехами: «Скажите: пеужели сама государыня их кушать будет? Ах, какие счастливые... Ах, ах!..»

Жена гвардии генерал-поручика Анкудинова взяла гусака-гусачину к себе на колени, дамы последовали примеру разумевшей толк в светском обхождении генеральши. Гусак-гусачина загоготал от счастья и от великого обжорства не сдержался. Генеральша ахнула: муаровое платье было в непристойной зелени... В другое время скандал вышел бы большой, но тут дама только вздохнула тяжело: «Глядите, государынину гусачку животик схватило... За лекарем живей шлите!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

О значении тугой мошны и о том, как свиделся Епшика с царицей Екатериной

Когда в белесом тумане, на равнине, покрытой вереском и чахлым ельничком, показались дымки и на проезжем тракте гуще пошел пассажир, Епшика обомлел: «Вот он, Санкт-Петербург! Что-то теперь будет?!»

И Епшике базалось, что его сейчас встретят и проводят к государыне, пожалуй, чего доброго, при въезде в колокола вдарят!..

Но как только Епшика подъехал к рогатке, обоз сейчас же задержали будочники:

— Стой, кто едет? По какому делу?

Епшика задрал бороду и важнецки отстранил будочника:

— Куда прешь? Не вишь, кто, государевых гусей везем!

Страж в обиду вошел:

— Много вашего брата тут с филькиными грамотами шляется! Знаем мы этих гусей, учены, слава богу...

Сгресли Епишку с сотоварищи и повезли в арестный дом. Не ожидал такого оборота дела шадринский писец. Однако и тут не стерялся Епишка, благо тугая мешна при нем была. Знал Епишка, что ничто не устоит перед тугой кисой: ни заборы, ни замки, ни тем паче государевы служилые люди, которые охулки на руку не клали и, почитай, брали с живого и с мертвого. Стребовал Епишка бумагу и чернил и в тот же день настрочил непосредственно генерал-прокурору Правительствующего сената грамоту:

«Понсже Правительствующему Сенату известна монаршая воля, начертанная рукой самоержицы всероссийской о том шадринском воеводе секунд-майоре Андрее Голикове в лета от рождения христова семь тысяч семьсот семьдесят четвертого. В том начертании августейшей царницей нашей возложено: «Любопытнo видеть сего шадринского гуся. Каков!» Я, Епихлоп, сын Амбросиев, по повелениям губернатора Сибири генерал-поручика Дениса Ивановича Чичерина и шадринского воеводы секунд-майора Андрея Голикова сих гусаков и гусынь в двенадцать персон доставил в град Санкт-Петербурх. По выполнении сенатского решения задержано градской стражей, где я пребываю под арестом, и слезно прошу ослобонить поскорее, дабы гуси не переложи и были доставлены государыне императрице...»

Епишкина грамота возымела действие. По указу Правительствующего сената Епишку на грядущи сутки освободили из-под ареста, но что касается гусяного дела, то разрешение такого

Сенату угодно было поставить на новое обсуждение.

Гусиный обоз остановился в монастырском, Новоснасского монастыря, подворье. Столичные монахи искуснее были пермских: за постой и за хлебов драли невероятные деньги. Ешишка каждодневно ходил к Сенату и навевался по гусиному делу. Швейцарские солдаты, что стоят при дверях, гнали Ешишку в три шеи. Но знал Ешишка, в чем тут собака зарыта и как ее отрыть на свет божий. Чье сердце не задрожит, ежели деньгой брякнуть?!

Стали швейцарские солдаты после того пущать Ешишку в палаты, но сенатские писцы и писчики — те нас сильно драли. И видел Ешишка по их мордам, что они, писчики и крючкотворцы, не шадринским чета.

«Хануги!» — плевался Ешишка.

Две недели обивал шадринский гонец пороги, ожидая сенаторского решения. Сенаторы меж тем не торопились: подыскивали статьи, законы и случаи в уложениях, под кои подошло бы сие государственное дело и получило бы законное разрешение.

У Ешишки слабела мошна, худели гуси, а бессовестные монахи алчно поглядывали на птицу:

— Живите, живите, сколь вам угодно, мы не токмо готовы за хлеба деньгой расчет вести, но и живностью...

«И тут хануги! — злился Ешишка — Сам передаю гусей, а не дам варнакам, для того ль вез эстоль, из сибирской дали, чтоб чернорясных шишиг кормить! Жрите псковских лысух, тот гусь по вас, а шадринский — особь статья... Эх!...»

Слабела киса у Епишки. Тут уж терпение лопалось, но спас швейцарский солдат все дело.

— Даешь целковый— все по-хорошему сойдет, присоветую, что и как.

«Чорт с ним, с целковым! — решил Епишка. — У нас в Шадринске алтыну рад, а тут сразу целковым кроют. Поди ж ты, столица, Санкт-Петербург! Ладно, крой...»

Пошли они с солдатом в его горенку под мраморной лестницей, на которой бабы голые выставлены. Закал солдат рубль серебром крепко в руку и говорит:

— Поезжай ты, кунец, в Царское Село, проберись в сад. Часто там их императорское величество гуляет, бухнись с гусем в ноги. И все выйдет как по-писаному.

Епишка на ус намотал совет. Хоть и умеи был солдат, а все же обидца: за одни слова, сукин кот, оgrab рубль-целковый!

Тут опять много хлопот пришло Епишке. Надо было с людичками, что при дворе, дознаться да снюхаться. Ухлопал еще неделю. И уже совсем было отчаялся, как добился-таки своего. Конюх царских конюшен пропускал его в сад, и тут он по целым утрам высиживал в кустах с гусем подмышкой, загодя перевязав гусю клюв бечевой, дабы не гоготал.

И вышло так, что садовничий страж сцанал Епишку с гусем в кустах и вел на допрос, а в эту самую пору на дорожке зашуршало шелковьем, навстречу вышла пышная баба в белом платье, в голубой душегрейке и кружевном чепце. Лицо у нее было полное, румяное. Улыбаясь, она подняла на них голубые глаза. Садовый сторож, как монумент, застыл.

«Никак, царица?» — подумала Епишка и ушел на колени. Гусак вырвался, захлопал, окаланный, крыльями и, пробежав шагов тридцать, шлепнулся в дворцовый пруд. Епишка обомлел: что теперь будет?

Царица весело спросила, посчитав его за дворцового служку:

— Откуда принес?

— Не вели казнить, вели миловать! — завопил Епишка. — Сего гуся с Сибири приволок я вашему императорскому величеству. Гусь сей — шадринский!

Разом вспомнила царица курьезное донесение шадринского воеводы, улыбнулась. Епишка осмелел. Но тут царица вновь омрачилась:

— Не пойму, как без спросу — незваный сюда поназ... Высечь его, мужика...

Всыпали Епишке на царской копытно полста розог, исполосовали мягкое место, ни сесть, ни лечь. Вернулся Епишка на монастырское подворье и занял горькую. Монахи обрадовались, гусей поотобрали и на откорм поставили. У игумена уже слюнки текли: знал, брюхатый, толк в птице!..

Но в эту же пору опять вынырнуло вверх гусиное дело. К государыне пожаловал аглицкий посол лорд Эден. Прибыл он курьером от самого аглицкого короля. Государыня пригласила лорда отобедать с ней. Поражался аглицкий лорд обжорству придворных. Сидел он скромно, ел умеренно и по-собачьи государыне в глаза глядел, словно спрашивал: «Ну как, надумали, ваше величество?»

Дошла очередь до жареного, подали тут гуся. Гусь был небольшой, на вид неказистый, но знатно приготовленный. Тут лорд ожил, заше-

велился и налег на гусиное. «Ага, — думает государыня, — что, господин посол, разобрало!» И рада, что поправился гусь английскому лорду.

Вышли из-за стола, царица подала послу руку. Засиял он весь: такая честь не всякому приводилась. Идя по дорожке, государыня пошутила:

— Я вижу: вам, господин посол, русский гусь понравился...

— Осмелюсь спросить, ваше величество: откуда сию дивную птицу вы получаете?

— Ну уж и дивная... Такой птицы у нас в Сибири премножество...

На том и покончилась царская аудиенция послу.

Два дня спустя министр коммерц-коллегии доложил императрице:

— Англицкое правительство сильно заинтересовалось, ваше величество, шадрипским гусем и строит респект об открытии торговли сей птицей... Коммерц-коллегия полагает, с сего большая польза купечеству и торговле российской пребудет...

Царица на то изволила распорядиться:

— Изъявить согласие на доступ того гуся в Англию... А шадрипского мужчину, что на конюшне выпороли, наградить ста рублями, дать офицерский чин и отпустить с миром в Сибирь.

Вернулся Евишка в Шадрипск к Воздвиженью. Уже пал на березе золотой лист, и голая березка стояла погашенной свечкой. На Евишке был новый офицерский мундир и медная медалька.

Именитые шадрипские купцы наказали попам звонить по церквам во все колокола, от души ставили пудовые свечи:

— Еще бы, шадрипский гусь нашел дорогу в торговую английскую землю. Купцам дела будут!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*О том, как пошли в гору дела шадринского купечества
и как сделался купцом Епишка*

Подлинно дела шадринского купечества быстро пошли в гору. Коммерц-коллегия, по высочайшему повелению из Санкт-Петербурга, дала указ о гусином торге с аглицкою торговою землею. В том указе прописано, что гусь шадринский пойдет в иноземщину в живом и мороженном виде. Тушки гусиные чтоб были доброго изготовления, и коммерц-коллегия наставляла, как готовить их, дабы англичанам любо было и тушки те быстро раскупались. Из аглицкой земли в Шадринск приезжали торговые гости, и хотя дорога на Урал им издавна известна, однако поражались они дорогам и раздолью российскому и больше того диву дались деревенской бедноте и невежеству.

Проворный Епишка, хотя аглицкого языка и не ведал, однако быстро снохался с теми торговыми людьми. Возил Епишка англичан по селам и посадям и показывал, сколь гусей можно поставить в аглицкую землю. Был Епишка непоседлив, егозлив и ловок; торговые гости учли то дело и доверили ему поставку шадринского гуся в иноземщину. Чтобы знали Епишка и шадринские купцы, какой гусь нужен на аглицком торге, торговые гости пожелали учинить испытание. Самый главный аглицкий гость сэр Уокерт попросил шадринских купчишек приготовить знатно гусиное блюдо. Купцы обрадовались тому случаю — показать товар лицом. Епишка созвал со всего Шадринска знатныхстряпух, и те двое суток били птицу, потрошили и готовили ее. Той самой порой аглицкие

гости своим людишкам препоручили изготовить птицу по аглицкому манеру. В памятный день, в который сошлись шадринские и аглицкие купцы, было показано гусиное диво. Столы ломились от гусей жареных, пареных, копченых, гусиных потрохов, заливного — кругом были тучность и изобилие. Шадринские купчинки посом водили: боже, твоя воли, какое благо-растворение воздухов! Во славу постарались шадринскиестряпухи. То-то диву дадутся аглицкие гости! Чужестранцы подлинно диву дались, лопотали что-то на аглицком языке и на гусей показывали. Сэр Уокерт плечьми пожал и, взяв Епишку под руку, подвел к столу. Сухим, будто деревянным голосом сэр сказал Епишке, показывая на гуся:

— Испорчен музык... О, гуеь, гуеь!.. Што баб ваш тут наделал?..

Аглицкие гости своих людишек-кухмистеров требовали, и те свои гусиные блюда приволокли. Куда им до шадринских гусятниц! Правильно, что гуеь их был румян, но никакой протчей прелестной видимости в нем не было. Аглицкие купцы на стряпню своих людишек поглядели и повеселели. Сэр Уокерт отрезал кусок гуся аглицкой стряпни и поднес Епишке. Хоть то Епишке и не по нутру было — «Эка невидаль, нустого гуся лопать!» — однако, чтобы гостя не заобидеть, Епишка попробовал стряпни аглицкой. И диво-дивное: на вид неказистое блюдо, а что сделали кухмистеры с шадринским гуеом! Корочка хрустела на зубах, а гусятина таяла во рту, и такой вкус и такой аромат был, что Епишка не утерпел и крикнул прочим шадринским купчинкам:

— Братцы, потчуйся, что они, черти, с шадринским гусем сделали!

Попробовали кушцы: действительно тот гусь, да не тот. Не избытчен и как бы пекажется, а вкусен, нежен и, как сахар, во рту тает...

Аглицкие гости через толмача поведали, что сей гусь не только на вкус приятен, но и для чрева полезен, не отягощает его и силы человеку дает. И что приготовить такое блюдо можно только из шадринского гуся, и опять-таки кормить надо особым обычаем. Немед-де любит, чтобы жирно было, англичанин — чтобы сало не текло по губам, а чтоб оно растекалось по мясу, как прожилки белые, а то на мрамор походило. Звалось то «беконным» откормом.

Хоть и обидно было шадринским купчишкам, что аглицкая стражня не в пример лучше шадринских стрянух, но коль скоро дело шло о пользе торговой, просили они аглицких гостей оставить пару своих людишек на время, дабы обучиться, какого гуся надобно добывать и как готовить его в дальнюю дорогу...

После того гусиные торги пошли на ярмарках Шадринска, Далматова, Меховской слободы, в Стери, что у села Маслянского, и в прочих местах. Торжки те были весьма оживленны, крестьяне навозили гуся живьем и битого; сюда же наезжали кушцы и прочий торговый народ; были тут екатеринбургские, камышловские, верхотурские, ирбитские, шадринские, курганские, ялуторовские, тюменские, туринские, шымские, челябинские и ордынцы, коими шадринцы обзывали татар, башкир, киргиз и бухарцев. На торжках лавки и балаганы строились, в коих всякая всячина продавалась: кожи, овчины,

шкурки, холсты, красный товар, железный, женское рукоделне мехонских мастериц, кои обладали редким искусством ткать ковры браные, красить шерсть в цвета разные с тенями. Ковры те бухарцы и то хвалили, хороши больно выходили по рисунку, прочности и мягкости. Холст и белье мехонские рукодельницы ткали, не уступающие фламандским полотнам. На торжках сплошной гусиный крик: навозили крестьяне гусей десятками. Кучишки подворья понастроили, конторы и скунали шадринского гуся за бесценек. Хороший гусь стоил три алтына.

Чтобы мужик от рук не отбился в трудную минуту, в зиму, кучишки давали ему в долг из понастроенных по селам и посадьям клетей муку, крупу, горох и соль, а потом гусем долги занолучали. А то и сами в долг гуся брали, а в уплате не горазды были. Кучишки быстро в гору пошли от торгов гусиных. Строили палаты каменные, выезды завели — жили прибыльно и сыто. А у мужика, который гуся растил-нестева, на столе всегда пища постная: холодное из тертой редьки с луком, картофелем и огурцами, капуста, грузди, щи из толстой яшной круны, репные паренки, морковь да квас...

Евнишка в Шадринске от торгов гусиных в три года разжирел, каменные хоромы воздвиг на самом видном месте. Кучишки уважали бывшего воеводского писца: ловок и проныра, прохвост. Никто лучше его не мог обстричь мужичка. При гусином торге Евнишка — теперь подобрешший, с расчесанной бородкой, при медальке — охулку на руки не клал. Язык у него был складный, быстрый.

Забирая у крестьянина гуся, Епишка говорил ему:

— Три алтына за гуся хошь?

— Хочу, купец, стои́т того гусь, — откликнулся, понурия голову, продавец.

— Что же, верно, стои́т гусь три алтына. — ухмылялся в бороду Епишка.

А мужик радовался: «Вот-де купец-удалец и не торгуется».

— Ладно, гони сюда, — показывал Епишка на подворье, — за расчетом к вечеру приходи. . .

Гнал хозяин гусей на подворье, славал на руки Епишкиным приказчикам. А вечером Епишка отсчитывал продавцу:

— Так-то, десять гусаков, говоришь. Считай по алтыну, всего десять алтын, получай, судрь. . .

— Как так? Да ты сказал: по три алтына гусь.

— Верно, — улыбался Епишка. — От своих слов не отрекаюсь, говорил я, что гусь три алтына стои́т. . . Ты вот мне скажи: что гусь твой жрал-пил? Известно что: траву, воду. Так. Трава — алтын, а чья трава? Богова. Скащиваю алтын на господа-бога. Вода — другой алтын, а чья вода? Богова. Скащиваю другой алтын на господа-бога. Третий — тебе остается. Получай, хозяин. . .

Гусиный хозяин кричать:

— Караул! Раззор, купец грабит! . . .

— А ты помалкивай, — спокойно грозил Епишка. — Где это видано, чтобы честный человек за божье добро деньги брал? Прозащивай, пока приказчики в шею не наkostenяли!

Спасибо и на алтыне, а то с Епишки, статья, и ничего не получишь, особо когда в долг возьмет. Тогда поминай, как звали!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*О прелюбоде протодиаcone и как спас его шадринский
гуся от теса митрополита*

Знатен стал шадринский гусь! А что в сем пользы мужику, ежели ему ни пуха, ни пера не доставалось от той знатности. Растили-пестовали крестьяне шадринского гуся, а никак из купецкой кабалы не выходили. Но одно горе — не горе, одна беда — не беда. Одна беда идет, другую за собой ведет. Не одним купцам по вутру пришелся шадринский гусь, но и отцы духовные признали, что добр он, а прознавши, стали за сего гуся молитвы творить — за здравие и за упокой.

Дабы было известно, как все произошло, подыдем с пыльных страниц занятную историю об отцах духовных и шадринском гусе.

Град Шадринск стоит при слиянии Исети и Шадры, в месте ровном и пахотном. На сем малом пространстве пять церквей было, из коих одна — соборная. Попов и лиц духовных для сего малого града тоже не оберись было.

Среди прочих духовных отцов обретался в Шадринске один соборный протодиакон — человек приметный, богатырь, красавец, и к тому бабник, каких свет не видывал. Шадринские купчишки не раз сулили протодиакону хребет за женок переломать, однако на деле подступиться к нему боялись. Застуна была сильная у протодиакона.

Был протодиакон zelo непотребен! Однажды, накачавшись до положения риз, сей муж вовсе снял оные, остался в чем мать родила и, взобравшись на воловозную клячу, в таком виде

проехал вдоль по Шадринску, наводя стыд на женскую половину населения.

И, на удивление честным людям, дело такое сошло с рук: все прощалось протодиакону за громоподобный голос.

Случился все же с этим протодиаконом грех большой, за что он и в историю попал. Будучи уже в годах, сошелся он со вдовой, купчихой Ананьиной, имевшей в Шадринске и в Челябине большую скобяную торговлю. Купчиха от него затяжелела. Видя такое дело, протодиакон отступился от вдовы: «Я не я и хата не моя». Вдова — баба бойкая — возьми и настроичи о сем деле в тобольскую консисторию. «Женщина я, дескать, бедная, обидел меня соборный протодиакон, и теперь не знаю, как грехи замолить». Дабы научили пути-истине, купчиха приложила к челобитной на построение божьего храма тысячу рублей ассигнациями. Письмо купчихи со вложенным возымело действие, и вскоре после этого последовал указ тобольской духовной консистории, по коему за сожительство в безбрачии протодиакону определена епитимия:

«В праздничный день встать ему среди церкви во время литургии на колени в рубище с возжженною свечой и такожды во все службы, каждоденно, три на десять дней, а затем дать оному блудодею в покаяние — в праздничные дни чистить ретираны в обители, а по исполнении сего отослать его в Далматов монастырь для покаяния, а на женку Екатерину положить епитимью особо».

Так как дело было конфузное и для народа соблазн мог произойти, то поны шадринские написали митрополиту челобитную о том, дабы

наказание сие диакон принял не в Шадринске, а в каком-либо ином монастыре, дабы светские люди не видели. Было бы-де еще лучше, ежели бы сам митрополит благосклонно пожаловал в Шадринск, благо паства давно по нем соскучилась.

Митрополит на ту челобитную не замедлил ответом, изъявив свое согласие на проезд в Шадринск.

По сему случаю, в ознаменование приезда в град Шадринск столь важной персоны, отслужили торжественный молебен, приготовили лучшие покои в протоиерейском доме. Митрополит весь день изнурял себя постом, а к вечеру требовал к себе виновного.

Протодиакон с дрожью великой ждал страшного гнева владыки. Тяжко дыша, он переступал с ноги на ногу в прихожей, ожидая, пока его не скличет преосвященный. На лбу богатыря выступил холодный пот. За дверью было тихо. Протодиакону не стерпелось, и он прильнул глазом к замочной щелчке. Изрит он: сидит в кресле румяный старичок с четками и дремлет. А над ликом старичка муха кружится.

— Кха... Кха...

Протодиакон закашлялся и львиным рыком разбудил старца. Митрополит вздрогнул и крикнул:

— Входи, греховодник!

Протодиакон переступил порог. Преосвященный насунил брови, глаза сощурил, пальцы быстро перебирали костяные четки с бисерной кисточкой.

— Ну! Кайся в блюде!

Протодиакон опустился на колени. Был он огромен, волосат, походил на развороченный стог сена.

«Ну, — думает, — пропал я». Хочет слово молвить, но в горле пересохло и язык не слушается. Застыла в горнице тишина — слышно, как в окне муха бьется.

И в ту самую пору на протоиерейском дворе громко и сочно загоготал гусак: га-га-га...

Преосвященный враз ожил, глаза его заблестели. Обернулся он к окну. Окно было открыто настежь, за ним стоял в зелени садок; заходило солнце, теплый вечерний воздух вливался в горницу...

— Га-га-га!.. — загоготал гусак.

— Гусь, — сладостно зашептал митрополит, — шадринский гусь!

Встал преосвященный и, чмокая губами, тихонько подошел к окну. Дьякон вытянул шею и видит — тяжелый белый гусак черными бусинками глядит на митрополита и клюв открывает, будто сказать что-то хочет.

— Ох! — тяжело вздохнул преосвященный.

Вспомнил он в ту минуту добрый паштет у генерал-поручика Дениса Ивановича Чичерина, вспомнил, что сие яство готовила известная шадринская стряпуха. Забыв о протоиерее, преосвященный закатил глаза и молвил с тяжким вздохом:

— Ох! Купрениха!

Попял протоиерей томление владыки и, подползши на коленях к преосвященному, бухнулся ему в ноги.

— Благословите, ваше преосвященство, на дело... Купрениха постарается немедленно... паштет...

Обмяк митрополит и сказал ласково, дружески:

— Иди, иди, сын мой... Благословляю...

Да чтоб такой, как у Дениса Ивановича. Курениха знает.

Громко билось от радости сердце протодиакона, когда выползал он на коленях из горницы.

Тем и закончилось столь серьезное дело о прелюбодеянии соборного протодиакона, — шадринский гусь выручил.

С той поры отцы духовные весьма возлюбили шадринского гуся и за требы, опричь денег, с мужиков гуся живьем брали. А монастыри — те оброк гусиный на села наложили и так, чтоб к петрову, к николину дню гусь живьем доставляем был, а к святкам битый, откормленный да в мороженом виде.

Не успел преосвященный отбыть из Шадринска в далматовский Успенский монастырь, что стоит на возвышенном берегу Исети, на Сибирском тракте, как пронюхали монахи его слабость! В ту пору настоятелем и архимандритом Далматовского монастыря был Иоакимф. К слову будь сказано, хитрый был старец. История мало сохранила о нем страниц, но то, что дошло до нас, достойно начертания.

Архимандрит Иоакимф был из поновичей, человек неученый, но беспокойный и прижимистый, любил держать народ в ежовых рукавицах. А в ту пору в монастырских вотчинах началось сильное волнение, искали прависные мужики перемены. Хоть к чорту на рога, только подальше от монахов.

Иоакимфу и прекоручил тобольский митрополит и консистория употребить все меры к водворению в монастырских вотчинах спокойствия, к подчинению их законной власти.

До того доусердествовал архимандрит, что мужикв взяли однажды в руки — кто топор,

кто косу, кто ружье, и человек сот пять обложили осадой монастырь и держали его под угрозой. Круто пришлось монахам, пообтихли. А пример тот крестьянам иных монастырских имений по душе пришелся. Побрали топоры и косы крестьяне и Рафанловского монастыря, и Кандиной заимки, и Воскресенского села, и иные прочие.

Тут отец Иоакимф показал себя — требовал военную помощь. В подмонастырские селения вступили отряды поручика Телепнева да подполковника Аборина.

Долго по селам и весям топтался потом драгунский полк. Рядом с подполковником на вороном кове ездил в черной рясе Иоакимф. И до того оба сдружились, что все лето по затечинским деревням ездили вместе да чинили нещадную расправу над мужиками, — как говорит летопись, сто шестьдесят крестьян кнутом и плетью нещадно избили.

Вот каков был преосвященный старец Иоакимф!

Когда прознал он, что едет к нему тобольский митрополит — чревоугодник немалый, строго-настрого приказал он поотобрать у мужиков наилучших гусаков и гусынь, дабы угодить преосвященному.

Тут монахи постарались, припомнили мужикам и крестины, и родины, и свадьбы, и заупокой. Баб и пеклом и смолой пугали, ежели по гусю к сему случаю в монастырь не принесут.

Со всей округи знатных стрянуд согнали, и вновь гусиная кровь рекой полилась.

Знатно угостился митрополит в далматовском Успенском монастыре. Повравились ему

гусиные паштеты, бочки с гречневой кашей, крылышки в заливном. Наказал преосвященный, уезжая, каждый месяц доставлять ему сот два гуся.

Ехал владыко в возке, дремал от сытости и думал: «Эх, и удивлю я Дениса Ивановича Чичерина: такие паштеты задавать буду — не нарадуешься...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*О том, как богатели и кулаки купцы шадринские
и как потерял один купец во сне свою бороду*

Молва о шадринском гусе и торговле с английской торговой землей по рекам и дорогам быстро разнеслась в Поволжье и в Прикамье. Татары-купцы — и те разохотились на сем гусином торге руки погреть. У купца нет родимой сторонешки: где можно урвать, зажить, подна-грабить, — там купцу и родимая сторонешка. Из Казани, из славна Нижно-Новгорода, из Перми великой наезжали в Исетскую провинцию ловкие кучишники. Рассылали бойких, тароватых приказчиков по весям и скупали у мужичков шадринских гусей. По седам те сторонние, не сибирские купцы завели гусиные подворья, немалые склады пух-перья, копчильни, в коих копчению гуся предавали, а больше гусь в иноземные царства шел живьем. Купцы те крестьянам под гусей ссужали немалые суммы денег, и оттого крестьяне не выбивались из кабалы.

Сторонний кунец был оборотливей, смекалистей, и шадринскому купцу оттого в грабеже стеснение стало и убыль в барыше: «Где

это видаво, чтобы сторонние, не сибирские купцы из рта избыльный кус выхватывали?»

Собрались шадринские и челябинские купчишки на совет и порешили бить челом перед сиятельным лицом императрицы Катерины Алексеевны на сторонних купцов, которые в шадринских палестинах скупают гуся и тем местному купечеству чистый раззор творят. А так как всему голова и затейщик был Епишка, сын Амбросиев, ныне именитый купец, то и порешили просить его написать царице ту челобитную и по знакомой купцу дорожке вновь съездить в далекий Санкт-Питербурх и вручить в державные руки прошение шадринских купцов.

Купецкий съезд был тот в Шадринске в самый мясоед в лето тысяча семьсот семьдесят четвертое. Стояли январские, крутые морозы. Шадринские улицы и проулки завалило снегом, однакоже сне не мешало именитому купечеству гонять сибирские тройки с гиканьем и великим шумом. Сколько посадского люду было подавлено, перекалечено, но не в том корысть. Провало-гуляло купечество неделю, немало было перенито-переедено. Гуртами купцы ездили в бани и до упаду с похмелья парились, после того лохани кваса повылакали. Известное дело, купецкая утроба — что прорва. Епишка с похмелья в самую стужу в Исети окунался, со всего Шадринска народ сбежался. Диву дались: как это купец в Иордани на мясоеде да в сибирский мороз в реку полезет. Епишку на тройке к реке подвели, он голомя из бобровой шубы выскочил, юркнул в прорубь, гривды окунулся и опять в шубу. А тем часом ему поднесли кружку шпирту выпить... После

того купцы еще три дня гуляли: пили, объедались, богатством хвалились...

А в ту самую пору, пока шла гульба, Епишку в дорогу домашние готовили. Ехал именитый шадринский купец ныне на двенадцати подводах. В широкой кошеве взбили пуховую перину — пух отобрали самый что ни на есть нежнейший, — одних шуб уклали пятнадцать. Были тут шубы нагольные и крытые парчой, а то аглицким синим сукном, что делают в аглицкой земле на манчестерских фабриках. В кошевах натаскали укладок разных, погребцов, дичи понаесли битой и мороженой, а наиболее всего — в мешках мороженных пельменей наготовили... Не обошли и шадринского гуся: взяли самого наилучшего полста голов, дабы было известно, о каком гусе в челобитной речь идет, и напомнить ее величеству Катерине Алексеевне минуту, когда был ошачливлен писец шадринского воеводы — Епишка.

Ныне волею судеб Епишка вознесен в именитые шадринские купцы.

Купецкая гульба кончалась, как приключилось невиданное дело. У Епишки в горницах на постое, пока шли купецкие беседы, жил челябинский купец по гусиному делу Астратов Овчинников, человек весьма примерный, огромного росту, лет пятидесяти мужчина, с красивой кучерявой бородой. Был он из раскольников, крепок в древней вере и обычаях, но выпить не отказывался, не сдавал перед другими в питье романей и царской. И перед самым днем отъезда случился грех. Встал купец рано, позевал сладко, почесал спину, потянулся, хват за бороду, а бороды и нет. Он к хозяйке, она руками всплеснула:

— Купец — не купец, а иноземец из неметчины... Господи, твоя воля, да что же это?

В ярость пришел купец: легче голову стереть, чем бороду. Непереносимый позор! Епишке тож стыд немалый: «Какой такой хозяин, коли гостя на такой позор выставили». Приуныли и купцы. Сколько жили, чего только не слыхали и не видали на своем веку, а такое озорство и срам впервой видят.

Кинулись искать виноватого: кто сонному купцу бороду отхватил?

Искать долго не пришлось: кинулся в ноги купцу его конюшенный и повинился: ночью-де из конюшни жеребца купецкого, что в коренишке ходил, угнали. И угнал не кто иной, как купецкий же работник Егорка, что счетному и нисьменному делу мастак. И, мало того, Егорка купцу грамоту оставил...

Вспомнил тут купец, как дён за три до того он Егорку самолично за волосья отгаскал и скулы своротил. Под хмельную руку вспомнил купчина, что третьего года Егорка просчитался в фунте гуеинного пуха. Распалилось сердце хозяйское и, дабы дать ему отойти, измордовал Егорку.

В оставленной хозяину грамоте Егорка писал:

«Моли бога, живодер, что бороду только откромсал, а не голову всю, потому оставил ее в видах, ежели придет государь Петр Федорович, чтобы вешать было бы сподручнее...»

Всполошились тут купцы. Из верных рук горговым людям были известны слухки, что в казацкой степи в ту самую пору появился-де казак Емельян Пугачев и смущает народ. Известно было тож, что Пугачев еще по осени

лета тысяча семьсот семьдесят третьего пустил промеж казачества, черного и посадского люду манифест о пожаловании их вечной вольностью, землей, водой, денежным жалованьем и прочим.

Кинулись купцы к воеводе: как им быть, как нагнать лиходея Егорку и что на путях-дорогах слышно, не трогают ли торговых людей?

Домашние приставали к Епишке:

— Пусть другие едут с челобитной. Пути-дороги опасные, и неизвестно, что сулят они.

Епишка и слушать не хочет: «Ха, на то он и Епишка, чтобы из всего пользу добыть. Кто знает, может, кому сие страшно, а Епишке, может, то и на руку? Закладывай коней, едем в город Санкт-Петербурх».

Заспешил-заторопился шадринский купец Епихидон, сын Амбросиев, в далекую невскую столицу...

Родные с увывиением провожали его. Купецкий обоз, груженный живностью и мороженым съестным добром, проскрипел по шадринским улицам и скрылся в морозном тумане...

— Прощай, родной Шадринск! Прощай, Епишка!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

О том, как пришел купцу Епишке конец

Ох, в недобрую минуту съехал со двора купец Епишка, сын Амбросиев. Первая примета дана была Егоркой, отчекрыжившим бороду челябинскому купцу. А вторая — в тот самый день, когда съезжал Епишка со двора, в шад-

ринском кружке государевы люди поймали незнаемого человека с возмутительным письмом.

Шли потайные слухи о том, что недалече, в яицком войске, объявился-де государь император Петр Третий и что жалует-де вольностью, землей и от подушной подати освобождает.

В эту самую пору сибирский губернатор Денис Иванович Чичерин писал командиру войсками на сибирской пограничной линии генералу Деколонгу: «У нас все благополучно, здешнее смятение прекращено, и виновные жесточайше наказаны: этим вся молва пустая и вредная пресекалась».

Премного понимал Денис Иванович Чичерин в гусиных паштетах и в заливном, но в том, что творилось в эту самую пору в народе, плохо маракал старый генерал-поручик. Напрасно надеялся Елишка на успокоительные грамоты сибирского губернатора к населению. Пока сей государственный муж писал и рассылал их, манифест Емельяна Пугачева всколыхнул шадринскую деревню, и, выведенные из себя притеснением начальства, попов, купцов и прочих обдирав крестьянского люду, восставшие мужики в самое короткое время захватили многие деревеньки и села, что лежат меж Екатеринбургом, Челябиной и Шадринском. Всюду в скорое время появились пугачевские полковники, кои становились во главе народных дружин...

В январе, в ту самую пору, когда съезжались купцы в Шадринск, в село Теченское прибыл пугачевский капрал Матвей Евсеев, который с шестью человеками народного войска занял село и был встречен народом радостно. Попы — и те вышли с иконами и нением. даже ударили в колокол. благо про-

знали, что те самые войска не чествуют духовенство и, в случае чего, посылают на «глаголь» посушить портянки.

На другой день после столь знаменательного события в Теченское, скрипя полозьями, въезжал обоз Епишки. У самой станичной избы выскочили три мужика с рогатинами, остановили обоз, вытряхнули кунца из теплого возка и, подталкивая в спину крепкими тумачами, повели в избу. . .

Догадливый Епишка смекнул, в чем дело, и дорогой наскоро удумал, какую ахиною пороть будет: «Надоело-де мне купечествовать на утеху непристойной царице Катьке, еду-де к царю-государю Петру Федоровичу, хочу послужить ему верой и правдой, вез-де от купечества челобитную самому государю, да в дороге настигли недобрые государевы люди и отобрали ту челобитную, а я, Епишка, еле ноги унес».

С теми мыслишками переступил Епишка порог горницы, снял треух, занес ко лбу руку, хотел положить подорожное крестное знамение, а в эту минуту кто-то весело крикнул:

— Батюшки, да это Епишка! Веди, веди сюда, вот где пришлось встретиться. . .

Глянул Епишка — и смутился: краснорожий капрап Матвейка Евсевьев доподлинно ему знаком был.

Епишка заюлил, умильно-сладоречивым голосом повел наступление:

-- Ай, Матвей Артемьич, как-то я рад несказанно, как торопился, сама судьба свела. . . Еду я. . .

Но капрап вдруг стал суров, и глаза заблестели:

— Вытряхнуть его, ребята, из шубы. . .

Не успел Епишка и духа перевести, как лисья шуба осталась в руках приспешников капрала.

— Ну, сказывай, лисья душа, хапуга, куда торопился, мужиков, чай, обирать? — опять повеселел Евсевьев. — Может, соль краденую сбывать?..

Епишка глаза упрятал. Было дело: воеводский писец Епишка подлинно воровал соль солдатскую с амбаров военных, а солдаты ели, не посоливши... А по начальству воевода и писец отписывали:

«Доводим до ведома вашей интендантской канцелярии: доподлинно крысы соль всю сожрали, и и воевода своими очами зрели, и весь посадский народ то под крестом подтвердит, как после того крысы тучей бежали на реку жрать без конца воду, — известно, пожравши соленого, пить хочется».

В донесениях по духовному ведомству тоже отмечено было:

«...Что касается сборов кружечных, то оные кружки оказались изгрызенными и разбитыми. Известно, что крыса любит блисткое, и серебро, и все, что к нему касемо, подлые потаскали. Хошь сборы были и немалые, но крыс было столь великое число, что народ диву давался, отколь столь их взялось...»

Ученый немец, что из челябинской берг-коллегии проездом был в Шадринске, писал в Санкт-Петербурге в Кунсткамеру:

«Необычайное происшествие видел. Многие тысячи, может статья, миллионы крыс — серые пасюки — перебирались из Сибири в Европу...»

Не будем спорить, может, доподлинно прав немец из бург-коллегии в том, что было нашествие крысиное, подобное орде, но и тож бесспорно — и капрал о том сейчас и намекнул Епишке, — что хоть и было крысиное нашествие, но что касается соли и серебра церковного, то наверняка изгрызли их крысы канцелярские да церковные...

Долго ли, коротко ли шел веселый разговор меж Епишкой и капралом, но только Епишку после той беседы отвели мужики в холодную. На дорогу капрал крикнул:

— Жди, козлиная борода, допросу!

Как только вкатился Епишка в холодную, сразу же крестное знамение на себя положил: «Слава тебе, господи, что не сразу обыскали, а то бы... Эх!...»

Тут Епишка требовал горшок сметаны. Доложила стража капралу о той просьбе, капрал рукой махнул:

— Ладно, дайте ему жбан сметаны, пусть жрет купецкая утроба напоследок.

Принесли Епишке в холодную жбан сметаны. Только остался он один, как из порток вытащил купецкую челобитную царице, что соборне писали в Шадринске, стал се кусками рвать, в сметану макать и жрать...

Ничего Епишке не жаль: ни жизни, ни почести; жаль добра своего.

Видел он из оконца, как Евсевьины «окаянцы» налетели на обоз, пособрали укладки, знатные дорожные шубы и уволокли всю рухлядь в станичную избу. Пиши пропало! Видел Епишка, как бородатый казак выволок из возка добрый мешок мороженых пельменей. Поди, жрет их теперь рыжий чорт со своими друж-

ками! Эка напасть! А гуси? Гуси, слышь-ка, и сейчас гогочут...

«Умирать — так умирать! — решил Елишка. — Но как быть, добра эстоль пропадает? Неужто сами все пожрут: и дорожные пироги, и пельмени, и знатных шадринских гусей...»

Тоскливо-претоскливо стало на Елишкиной душе...

В эту самую пору капрал Матвей Евсевьев с приближенными обсуждал: как с купцом быть? То ли на перекладину его вздернуть, то ли под лед толкнуть — пузыри пускать?

Думает-решает капрал, а в это время мужики с челобитной:

— Не вешай ты, не тони купца, Матвей Артемьич, больно скоро будет все, а мучил-обдирал он, кажись, и не год и не два; просим мы тебя: придумай ему такое, чтобы проняло.

— Ладно, — говорит Матвей Артемьич. — Ведите купца на суд!

Ведут Елишку. Нажрался он сметаны с челобитной грамотой, отрыгивается.

— Садись, купец, — пригласил капрал, — да послушай, что мы тут решили.

Елишка уши наострил.

— Решили мы тебя не казнить, не миловать, а вести на суд под дайматов Успенский монастырь. Многие тыщи крестьян сошлись туда с рогатинами на брюхатых монашкков. Пусть рассудят сами мужики, как быть с тобой...

Поблелел Елишка, сошел с лица.

— А как же гуси? Неужто погибать добру? — Поднял он глаза на капрала: — Батюшка ты мой, суждение твое правильно, вези под монастырь, да будет воля твоя!

А сам думает: «Погоди. Елишка, не вешай».

носа, не все кончено! До монастыря далеко, может, еще сбегу дорогой».

Бухнулся Епишка капралу в ноги:

— Одного прошу только: разреши мне напоследок поесть вволю. Припас я гусей, так их...

— Ладно, будь по-твоему, — махнул рукой капрал. — Жри, сколь душа принимает!

— Только гусь чтоб жареный. — заикнулся купец.

— Будет жареный, — сказал капрал и наказал вести Епишку на обед.

Усадили Епишку за стол, перед ним гусь жареный, добрый, жирный. У Епишки глаза подернулись маслом: «Ай да гусь, ай да шадринский!»

Жадность у Епишки на дарового гуся невероятная. Постучал Епишка вилкой о ножик и начал жрать. Жрал не долго и не коротко, а жрал с чувством, с толком, с разумением...

Съел гуся и, как ни в чем не бывало, облизнулся:

— К ужину готовьте второго.

«Ну, — думает капрал, — такой утробе один гусь — как в пустое место».

Пришел вечер, по приказу капрала, подали Епишке два гуся.

Епишка возликовал: «Сам съем, а добро свое никому не уступлю!» Он жрет, он нажимает. Второго гуся умял. От натуги на лбу пот выступил.

«Ну, — думают мужики, — вот когда накормили вволю купецкую утробу...»

Сидит купец, рот раскрыл, как ворона от жары, бока распирает.

Отвели под руки в холодную...

«Ну, — думают, — конец куцу, окачурится. Забил чрево...»

А наутро ничего, купец жив-здоровехонек, хлопает себя по брюху:

— Вишь, оно у меня луженое... Посчитай, сколь такому брюху гусей надо...

А сам ухмыляется.

Доложили о том капралу, рассерчал он, закричал:

— Зажарить еще пару, накормить купца!

Зажарили еще пару, наелся Епишка, опять спать... Проспался, улыбается:

— Ну, может, и сжалитесь, отпустите к царю-государю Петру Федоровичу, сами видите: тороплюсь, да и не выгоден вам такой постоялец. Напился, наелся, спасибо вам, пора и честь знать... На обратной дороге заеду, пяток — другой гусачков доем... Ась?..

«Ну и брюхо, — диву дался капрал. — Этакое чудо не грех и атаману Прохору Нестерову показать».

Атаман Нестеров с человек полторы тысячи и при пятнадцати орудиях окружил в ту пору далматов Успенский монастырь. Монастырь тот был обнесен кирпичной стеной со шницами и амбразурами в два ряда и отверстиями для боя из мелкого ружья (бойницами), и это задержало восставших крестьян.

К нему-то и собрался в поход капрал Матвей Евсевьев. На дорогу он приказал зажарить три добрых гусака и накормить Епишку.

Как ни жадничал Епишка, как ни силился, а умял только два с небольшим. Пузо раздулось, глаза и лоб полезли, и нечем Епишке дышать: под грудями сперло. До возка не смог дойти сам Епишка. Отнесли на руках и уложили в сани.

— Эх, какая досада! — сожалели мужики. — Гусей пожрал, да отлежится в пути-дороге, а там, глядишь, уговорит атаманов...

Делать нечего, — отпустили в дорогу...

Подорожной Епешка еще два гуся требовал и ушел.

— Эх, прорва! — удивлялся капрал.

Оно, правда, в поле мороз трещал, а от еды да жадной натуги на лбу Епешки пот выступил...

Всю дорогу купец икал да стонал под шубой. Самый Никольским, что недалече от далматовского Успенского монастыря, олень задержали пугачевские дружины атамана [redacted]. Сам атаман встретил подорожных. Оби [redacted] крепко с капралом Матвеем Евсевьевым.

— Сколько лет, сколько зим! Как твои [redacted]?

— Поймал я гуся, да диковинного, — похвастался Евсевьев.

— Покажи, — стал просить атаман.

— С приятным удовольствием, — согласился капрал.

Они подошли к возку, где, зарывшись в шубы, лежал Епешка.

— А ну, вытряхнуть! — приказал капрал своим приближенным.

Тряхнули мужики шубы, а из них вывалилось застывшее тело Епешки. Прикончился под шумок Епешка от жадности.



НЕОБЫКНОВЕННОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ САВВЫ СОБАКИНА



Лейб-медик Фукс приходил в отчаяние от нескрываемого пристрастия государыни Елизаветы Петровны к тяжелой и обильной пище. Матушка-царица любила щи, буженину, кулебяку и гречневую кашу, от чего стан императрицы грузнел, расплывался, давала о себе знать и изрядная одышка: возраст государыни был почтенный. К этому Елизавета Петровна и в другом попирала медицинский регламент Фукса. Она ложилась почивать только на рассвете. По опыту своих царственных предшественников государыня превосходно знала, какие неприятные неожиданности иногда сулит ночь императорским особам. Окруженная верными придворными женщинами, служанками, чесальщицами пяток, государыня проводила ночи в тихой беседе.

Эти два обстоятельства — обильный обед и бессонная ночь делали особенно приятными

минуты послеобеденного отдыха. Горе тому, кто бы нарушил сладостный покой императрицы!

Однажды, в жнойную июньскую пору, государыня Елизавета Петровна изволила по обыкновению отдыхать.

На берегу царскосельского пруда, в синеватой густой тени векового дуба камерфрау разостлали ковер. Полулежа на шелковых подушках, ее величество сладко дремала. После обильной пищи и небольшого возлияния венгерского государыню одолевало легкое опьянение. Хотя стояла несносная жара, но с прудов обдавала прохлада. Покрытая шальями, государыня почивала. Фрау веером отгоняла от нее докучливых мух. Окружающие царедворцы хранили благоговейное молчание.

В эту столь возвышенную и благостную минуту вдруг совершилось неслыханное и непозволительное. Камер-юнгфера, усердно отгонявшая мух, неожиданно стала морщить свой припудренный носик и вдруг громко чихнула.

К ужасу всех государыня открыла глаза, и рука ее потянулась к туфле. Быть камер-юнгфере битой по щекам! У царедворцев остановилось дыхание от страха.

Но в этой напряженной предгрозовой тишине за оградой дворцового парка внезапно раздался звонкий и чрезвычайно сладенький напев:

— Све-жа-я те-ля-ти-на!

Все с великим гневом устремили взоры на ограду, за которой с ношей на плечах шел молодец-разносчик. Гофмаршал покраснел, как индюк.

— Какая дерзость! — возмущился он и устремился вперед, но ее величество изволило благосклонно остановить его:

— Ах, оставьте!

Государыня приподнялась и напрягла слух. Разносчик, словно в угоду ей, стал повторять свой призыв к покупателям:

— Све-жа-я те-ля-ти-на! Све-жа-я те-ля-ти-на!

— Какой превосходный голос! — мечтательно вздохнула императрица.

Она обожала вокальное искусство и всех, обладавших голосом, весьма жаловала. Даже те, кто имел хоть малейшую склонность к пеннию, особо отмечались.

Придворные, следуя примеру государыни, угодливо стали прислушиваться.

— Сколь превосходный тембр, — повторила с умилением государыня и приказала: — Гофмаршал, озаботьтесь сию же минуту пригласить его ко мне!

Разносчика немедленно догнали и доставили в парк.

Узнав, что перед ним государыня, молодец упал на колени и взмолился:

— Пощади, царица-матушка! Видит бог, телятина свежая.

— А ты пропой, какая телятина, — благосклонно улыбнулась императрица.

Молодец растерянно оглянулся на придворных; те подталкивали, ободряли его:

— Пой, орясина! Ну, пой, дурень...

«Господи, спаси меня и помилуй», — подумал молодец, глубоко вздохнул и во всю силу своих обширных легких грянул:

— Све-жа-я те-ля-ти-на!

Эти мудрые изречения купецкого ума Савка усердно применял на житейской стезе. Никто не ведал, что в Савке скронулся отменно умный дипломат.

Государыня императрица Елизавета Петровна пребывала в преклонных годах, и нетрудно было предугадать, что не за горами последняя колесница, которая отвозит и великих и малых сих в небытие. В последние годы государыня усиленно жаловалась на несносные колки. На глазах придворных она заметно слабела, и часто на вечеринках в Эрмитажном театре во время беседы государыня клонила голову и безмятежно засыпала. Такое столь не блестящее состояние здоровья императрицы внушало одним страх и трепет, а другим — смелые ожидания. Кто знает, что может случиться, если государыня, к прискорбью, как и все смертные, оставит земную юдоль, наполненную скорбями и печальями?

Один Савка Собакин, видя быстрое увядание своей покровительницы, не унывал. Проворный купец все знал, предвидел и по-своему усердно внес посильную лепту в придворные интриги.

Было известно, что при дворце воспитываются и готовятся к престолонаследию принц гольштинский Петр и привезенная из Штеттина захудалая принцесса, нареченная в крещении Екатериной. Обе эти наследные особы пребывали в весьма стесненном материальном положении.

Савка не замедлил безотказно и в долг снабжать скромный двор наследника необходимыми припасами и вином, а весьма привлекательную на вид и очень доброжелательную в обхо-

ждении с ним цесаревну Екатерину он снабжал и червонцами.

Времена были переменчивые. Купцы намекали Савке:

— Поостерегись, степенный! Ноне он князь, а завтра ты прах в студеном Березове.

Собакин не унывал.

— Ничо, дорогие! Где Савка Собакин посеял, там дважды взойдет, и умолот будет обильный. Такая у мепя легкая да веселая рука!

Вышло так, как предрекал Савка. Государыня в один из дней занемогла и в бозе почила. На престол вступил гольштинский принц, нареченный императором России, — Петр III. Отдав дань скорби и воздыханиям, Савка вновь воспрянул духом и решил закрепить положение. Государь, помня услуги купца Собакина, отдал ему на откуп поставку сена для конной гвардии. Однако не успел Савка размахнуться, как государь Петр III неожиданно-негаданно отдал в Ропше душу господу-богу, а на престол взошла преславная супруга его Екатерина. Возликовало сердце Собакина. Настало времечко обильного умолота. Савка явился во дворец, был допущен к императрице и пал к ее ногам.

— Многим мы бывали благодетельствованы царями российскими. Не оставь, государыня-матушка.

Екатерина была женщина тонкого ума и поняла купеческую хитрость и лесть, но, помня Савкины червонцы, взяла его за плечо и повелела:

— Вставай, шут! Быть тебе откупщиком таможи в Риге!

— Матушка-царица, благодетельница паша, — снова повалился ей в ноги Савка.

Государыня сдержала свое слово. Савка Собакин получил на откуп таможду в Риге, и не прошло десяти лет царствования новой монархини, как купец нажил на таможенном откупе миллионы российских рубликов. К тому времени он уже перешел из крестьянского состояния в чиновничье для того, чтобы добиться дворянства, а через это приобрести право на покупку населенных имений.

Быстро лез в гору Савка Собакин!

Необыкновенное и быстрое возвышение и обогащение не насытило, однако, жадности Савки Собакина. Задумал он великое дело—взять поставку на армию. «Но как к сему делу подойти, где заручка?»—мозговал купец, и тут дознался он, что счастливцев, который сполна пользуется сердечными утехами государыни, есть не кто иной, как причудливый, но простой, вновь воссиявший на петербургском небосклоне, Григорий Потемкин. Великан, совершенство человеческой красоты: открытое белое лицо, густые темные брови и голубые глаза. Он не любил пышных напудренных париков, ходил без них, красуясь белокурыми природными завитками. Добродушью его не было предела, но неуравновешен был его характер—он то предавался безудержному веселию, то впадал в бесконечное уныние. В минуты веселия всеми признанный фаворит государыни задавал умопомрачительные балы, поражал всех широтой натуры и роскошью. Через преданных людей Савка дознал, что ее величество жалуется свдего вновь избранного любимца записками, в которых,

именует его милушечкой, любезным, сердечком, любимым Гришаткой. . .

«Через сего мужа и надо выше лезть», — решил про себя Савка и выждал счастливой минутки. В чайной встречи с Потемкиным Савка старался покороче сойтись с Михеичем, домашним слугой вельможи. Купец посылал Михеичу ко дню именин отрезки добротного аглицкого сукна, фунтики китайского чаю, бутылочки венгерского. Через Михеича было дознано, что удобный момент представления купца Потемкину — это день, когда, воздав должное Бахусу, светлейший страдает жестоким похмельем. В часы эти предстать перед страдающим вельможей — значило попасть в клетку могучего льва. В день этот все весьма тщательно избегали апартаментов светлейшего, и он одиноко валялся в страданиях на канаве, оберегаемый только старым брюзгой Михеичем.

«Сие несказанно добро», — прикидывал обстановку Собакин, но слегка трусил. Правда, купецкая кость была пзрядно крепкая и тело жильбое, но ведь и князь, слава творцу, создавшему сей перл, был не младень, а богатырь Илья Муромец. «Как после этого обстоятельства подойти к нему, вести речи и не быть битым?» — ломал голову Савка.

Тут осенила его мысль: странности и неустойчивость характера князя — добрый знак! Именно после воздания должного Бахусу и есть удобный день явки к вельможному.

Савка решил действовать.

После одной веселой пирушки Потемкин, злой и томимый головной болью, по обыкновению валялся на канаве в пустом огромном зале, когда в приемную явился купец Савка

Собакин. Подмышкой купец держал ведерный бочоночек плотной дубовой клепки.

В приемной было пустынно и тихо; в стрельчатом высоком окне билась докучливая муха да невесть откуда, из отдаленных покоев, доносились протяжные стоны и крепкие ругательства. Дежурный адъютант с удивлением взглянул на храброго посетителя, но тот все стоял, чего-то ожидая. В приемную вышел Михеич, и Савка степенно поклонился ему:

— Выручай, родимый, доложи их сиятельству: сердечно лидезреть их желает купец Собакин и почтет то за великое счастье.

Михеич мигнул купцу и поманил пальцем.

— Следуй, супостат!

Адъютант пошел было наперерез купцу, но всемогущий Михеич охладил его пыл:

— Купец изволил прибыть по особому и личному вызову князя, — старик насунил седые брови и зашаркал во внутренние покои. За ним проследовал Савка.

Рычание и стоны становились явственней. Слуга медленно проходил покой за покоем, распахивая перед Савкой двери. Наконец они очутились перед последней. Купец побледнел, но держался храбро. Михеич с великим сердечным сокрушением взглянул на кулда и предупредил несчастного:

— Ну, Савва, быть тебе битому! Ежели чего, ты не скорби — со смирением прими смерть мученическую, — и предупредительный старик распахнул последнюю дверь.

В зале были спущены штофные шторы, стояла полутьма; под потолком в хрустальной люстре колебалось желтенькое пламя, догорала свеча. В полутьме Савка рассмотрел широкую

софу, крытую ковром, на ней в беспорядке раскиданные шелковые подушки и валики. Поперек софы лежал ничком широкоплечий богатырь с белокурой гривой волос на затылке.

— Кто вошел? — не поднимая головы, зарычал он.

Савка упал духом, но откликнулся дрогнувшим голосом:

— Это я, ваша светлость. Я, Савка.

— Какая это еще собака? — заревел Потемкин.

— Не собака, ваше сиятельство, а Собакин, купец Собакин, — зашептал Савка.

— А-а! — вскипел вельможа и вскочил с софы. Лицо его было искажено муками похмелья, глаза пылали гневом. Он был в цветистом восточном халате нараспашку, обнаженная волосатая грудь была могуча. Он занес кулаки: — А-а... Убью пса! Как смел?

Савка упал на колени и поставил перед собою бочонок. Купец умильно, по-пёсьи смотрел в глаза вельможи.

— Головка болит? Драгоценная болит? — соболезнующе прошептал он.

— Что это за бочонок? Червонцы в нем? Подкуп, аршинник? — окончательно вышел из себя богатырь. Грузный кулак его готов был опуститься на Савкину плешь, но в эту столь критическую секунду раздался сладкий шопот Собакина:

— Рассол это! Огуречный рассолик от головной больки, ваше сиятельство. Дозвольте избавить от мук?

— Как, рассол! — Потемкин в первое мгновение обалдел. Хлопая глазами, он засиял весь

и потянулся к Савке: — Ах, собака, вот пес, ну и удружил! Открывай живо!

Купец быстро выбил затычку и стал глазами отыскивать в зале подходящую посудину.

— Не иди веую, — хрипло сказал князь, и поднял бочонок. — Дай-кось сюда. Хорошее питье добро и без чаши.

Он запрокинул голову. В бочонке забулькало.

Собакин онемел, изумленно разглядывая богатыря. Тот, шумно дыша, жадно пил. Несколько раз он отрывался от бочонка, глубоко переводил дыхание и снова прикладывался. На щеках его постепенно появлялся румянец, глаза повеселились.

— Ах и рассол! Фу ты, — наконец-то оторвался красавец от бочонка и рукавом дорожного халата утер мокрые губы. — Ох-х, — сладко рыгнул он и повалился на софу, — Михеич, остуда! Открой шторы, дай взглянуть на сего мага и чародея!

— Ну, как головушка, ваше сиятельство? — ласково спросил Савка.

— Легчает, ох, как легчает!

Из-за двери, шаркая, вышел Михеич и стал открывать шторы. Савка неловко топтался на месте.

— Ну, пока уходи, а я отосплюсь. — Потемкин опрокинулся на спину и закрыл лицо подушкой. Через минуту во дворце раздался его богатырский храп.

Неделю спустя Савка Собакин был удостоен санкт-петербургского питейного откупа, и нажива обильной рекой потекла в купецкие карманы.

Шли годы, менялись люди, чередовались события. Светлейший князь Потемкин заметно постарел, жил на юге — государыня находила дела для своего бывшего любимца подальше от столицы. То завоевание и устройство Тавриды, то война с турками вызывали нужду в светлейшем в далеких теплых краях. Савка Собакин к этому времени ворочал миллионами, но он остался прежним Савкой. Непомерная жадность и купецкая хватка привели его к неожиданной беде. В 1774 году после кровопролитной войны с Турцией был заключен мир в Кучук-Кайнарджи. Государыне угодно было ознаменовать для народа этот исторический день. По указу ее величества было велено после обнародования манифеста о мире на три дня открыть все петербургские кабаки. Каждому простолюдину дозволялось зайти в кабак и на казенный счет выпить чарку водки в честь побед Румянцева.

С утра в городе началось небывалое столпотворение и несусветное пьянство. Уже к вечеру первого дня на улицах, площадях и в канавах было подобрано пять сотен опившихся и покалеченных людей. Полицейские клоповники переполнились забияками, скандалистами и подозрительными личностями.

Кончилось торжество, придуманное государыней, весьма печально, не менее печален был для казны и счет, представленный питейным откупщиком Саввой Собакиным. Цифра опустошенных винных бочек была столь велика, что правительство вынуждено было нарядить следственную комиссию для разыскания правды. Ревностные чиновники раскопали истину. Оказа-

лось, что во всем Санкт-Петербурге и во всей губернии никогда не обреталось такого огромного запаса водки, которое было выписано откупщиком. В итоге следствия купец Савва Собакин угодил под суд.

Злопыхатели и недоброжелатели загодя радовались его беде: «Быть Савке на каторге!»

Но счастье не оставило Собакина и снова улыбнулось ему. По заступничеству князя Григория Потемкина государыня весьма мягко обошлась с Савкой и помиловала его. Стремясь предать все происшедшее в дни торжеств забвению, ее величество изволило повелеть Собакину впредь именоваться по отчеству — Яковлевым. В государственных реестрах и документах с этого времени фамилия Собакиных исчезла навсегда. Однако Савка был лишен питейного откупа, и ему указали заняться другими делами.

5

История с превеликим пьянством постепенно забылась. Спустя несколько лет на Урале появился заводчик Савва Яковлев, где им был приобретен знаменитый Невьянский завод Демидовых.

С переменой заводских хозяев жизнь рабочих людей несколько не облегчалась. Демидовы были известные всему миру стяжатели; жадные и свирепые, они не давали никому спуска. Тысячи кабальных и приписных крестьян маялись на шахтах и рудниках Демидовых. Грозен был хозяин Каменного пояса Демидов! Заводы походили на каторжные остроги, в них было свое войско, тюрьмы и палачи.

Не облегчало с приходом в Невьянск Саввы Яковлева. Хозяева новые, а порядки старые.

Дабы придать больше пристойности и строгости, Савва не замедлил составить приказчикам свой рескрипт, состоящий из восемнадцати пунктов. В нем предписывалось мужикам педреманным оком беречь лес, изводить его по крайней нужде и весьма ограниченно. В Невьянске, где пребывал отныне Савка, работные должны были блюсти строгое благочиние, порядок, тишину и благосостояние. Настроено наказано, чтобы по кабакам и улицам не шатались бы пьяные, пессельники и крикуны. По всем улицам и переулкам и в рядах предлагалось блюсти чистоту, канавы и мосты иметь в исправности, коз и поросят на людные места не выпускать. Соблюдая свято и нерушимо все эти правоучительные правила, благодарные работные люди и служилые, завидя заводчика, должны были снимать шапки и класть перед ним пристойные поклоны. Дабы потомство помнило о благих делах мудрого хозяина, Савва привез из Москвы пинта, который, однако, больше поклонялся Бахусу — богу веселия и пьянства, нежели вел дружбу с музами.

Изрядно постаревший и грузный чревом Савка вставал рано и в заботе и попечении о делах и людях, ему подвластных, разъезжал и заглядывал во все уголки своего обширного царства. Нерадивых, неучтивых и нарушителей изданного рескрипта он самолично хлестал или кликал ката, и тот при нем чинил скорый суд и расправу.

Жизнь Савки среди хлопот и деяний незаметно клонилась к закату. Сам Савва Яковлевич превосходно сознавал, что неумолимо близится день, когда природа потребует его туда, где нет ни печали, ни воздыхания...

Напрасно тщился Савва оставить неблагодарному потомству память о себе, она и так жила бы. Последнее его лихое действо надолго сохранилось на Каменном поле. И мы, прощаясь со своим героем, не можем не отдать дань этому деянию Собакина.

В 1764 году в горную канцелярию в Екатеринбурге явился приписной к Невьянскому заводу крестьянин Алексей Федоров и объявил о золотых рудах, найденных им в даче Прокофия Акинфиевича Демидова. В горной канцелярии знали силу и ретивость Демидовых и потому заявку утаили и предали забвению. При водворении на Невьянском заводе Саввы Яковлева горщик Федоров напомнил правительству о своей находке. Смелое заявление приписного изрядно напугало Собакина. При обнаружении залежей ценного металла — золота — владельцу грозило изъятие земель. Савва вспомнил старину и удаль, он решил схватить заявителя и посчитаться с ним по-своему. Отец и сын Федоровы в ту пору пребывали на Ирбитской ярмарке. Об этом узнал Савва и, не медля ни часу, выслал своих верных людишек. Глухой ночью налетели они в Ирбит, выволокли из избы отца и сына и, повязав их, бросили в сани. Заодно захватили их товары и деньги. Глухими проселками и лесными запутками их доставили в Невьянск, где нещадно били. Алексея Федорова бросили в потайной подвал грозной Невьянской башни, где приковали к сырой стене, а сына его увезли по зимнику до Костромы, где и утерялся его след.

С той поры и до 1797 года о Федоровых не было ни слуху, ни духу.

Но тут случилось необыкновенное и непо-

нятное событие. Алексею Федорову, пробывшему весьма длительное время в оковах в подземных казематах башни, неведомо каким путем удалось подать челобитную на высочайшее имя, и, — что было поразительно, — челобитная дошла по назначению, и было строжайшим образом поручено берг-коллегии расследовать дело.

Из канцелярии правления главных заводов в Невьянск неожиданно прибыл чиновник Ярцев с горными солдатами, обыскал подвалы, башни и освободил Алексея Федорова. Заключенный более походил на скелет, нежели на живого человека. Долгие годы пребывания в сырых склепах невянского владыки не прошли для него бесследно.

Горным ведомством по настойчивому требованию из Санкт-Петербурга было приступлено к дознанию о горьких и незаконных притеснениях, которым подвергались Федоровы. По всему предвиделось — последуют суд и крутая расправа.

Но, увы, все это было бесполезно и ни к чему. Виновника и вдохновителя громкого преступного дела давно не было в Невьянске. В 1784 году, задолго до следствия, Савва Собакин безмятежно почил на невянском погосте.



ПСИНОГоловый ХРИСТОФОР



1

Профессор Розен, сопровождавший известного путешественника Гумбольдта в его странствованиях по Уралу, побывав в обширных владениях горнозаводчика Прокофьева, был очарован незабываемыми красотами диких горных уголков. Ученый почел за необходимое записать в дневнике свое восхищение этими предельными местами.

«Завод господина Прокофьева богат и обширен, — писал он, — производство ведут приписные крестьяне. Наиболее очарователен пруд — украшение сего поместья. Он огромен и имеет десять живописных островов. Плотина обложена гранитом и огорожена чугунными решетками, вставленными в гранитные столбы. Отсель открывается изумительный вид на черноватые еловые леса, кои покрывают береговые возвышенности и придают виду строгий, немного угрюмый характер, свойственный ландшафтам севера, но тем не менее имеют весьма много привле-

кательного. Лаццифт сей напомнил мне подобные же в Швеции, виденные в прежние годы.

«Сам господин Прокофьев толст, бородат, а глаза — плутовские. Однакож с нами он отменно вежлив. И — что примечательно — за ним все время по пятам следует пес. Волкодав сей громадец, сер и премного злобен. Видать, добрый пес! Глаза у него человечьи, и он безусловно предан своему хозяину. Кличут пса — Ратай».

На другой день профессора постигло горькое разочарование. Первое утреннее пробуждение его в хоромы гостеприимного хозяина произошло от грубых окриков и невыносимого воя, оглашавшего двор. В одних исподних, в ночном колпаке профессор выглянул в окно и ужаснулся. Посреди пустынного двора, обнесенного высоким частоколом, топтался малорослый, грузный хозяин.

Заложив руки за спину, шурясь от яркого утреннего солнца, он покрикивал:

— Ату! Рви хлеще!

Вдоль частокола бежал нагой исхудалый мужик с выпученными от ужаса глазами и выт от боли. Злой волкодав Ратай настигал бегущего и рвал икры. Лохматый кат¹ с сырмятной плетью бежал рядом с истязаемым и, когда тот останавливался, жгучими ударами подхлестывал его.

Профессор зажмурил глаза и отошел от окна.

В эту пору в горницу вошла спяглазая прислужница. Гость не утерпел и спросил ее:

¹ Кат — палач.

— Поведайте, любезная, сколь велико преступление сего разбойника, ежели его так мучительно истязают?

Молодка вспыхнула, потушила глаза.

— Эх, барин, да это вовсе и не разбойник, а жигарь.¹ Хозяин пожелал испоганить его девку, а она не далась. Вот его и пытаются за то...

Она замялась и покосилась на темную дубовую дверь:

— Только вы, барин, об этом...

Профессор разбудил Гумбольдта и рассказал ему о виденном. Оба немедленно засобирались в дорогу.

Господина Розена больше не радовали восхитительные виды, перо валялось из рук. Может быть по этой причине и дневник остался неопианным.

Путешественник Гумбольдт мрачно молчал. Плотно сжав губы, он сухо откланялся хозяину, и гости уехали.

Заводчик прищурил глаза и усмехнулся вслед:

— Ишь ты! До чего жилы тонкие, ровно скрипичная струна. Не выдержали суровости нашей жизни. Эге!

В душе заводчика отъезд ученых гостей вызвал облегчение.

«Немчишки-соглядатаи, — опасливо подумал он про себя. — Насмотрятся тут и сбрежут, что не к месту на людях. Ладно удумали, мингеры. Уехали, покатались, скатертью дорога!»

На радостях хозяин наказал истопить баню.

¹ Жигарь — углежог, обжигающий уголь для заводских домен.

Четыре молодки под вечер сволокли хозяина в мыльню, разоблачили и усадили его в дубовое корыто, наполненное приятной теплой водой. Девки старательно терли и намывали тучное тело хозяина, даже вспотели от усердия. Довольный заводчик плескался в воде и крихтел.

После омовения он вышел в предбанник и жадно выпил ведерный жбан холодного квасу. От его багрового распаренного тела клубами валил пар. Прислужницы завернули утомленного хозяина в простыни и уложили на лавку. Настал час самозабвенного отдыха.

В щели предбанника золотились последние лучи заходящего солнца. Мимо раскрытой двери мелькали низко летающие стрижи.

«Экая благодать, — сладостно думал хозяин. — Будет ведро, и, хвала богу, соглядатаев сбыл».

В эту минуту блаженного покоя в предбанник ввалился заводский приказчик — широкоплечий, нелюдимый кержак. Он сопел, топтался у порога, как неуклюжий медведь. Кержак многозначительно поглядел на хозяина и на дверь мыльни.

В бане на полке в густом пару хлестались вениками молодки.

— Закрой! — показал хозяин на дверь в баню. — Ну, докладывайся, пошто приволокся? Случилось что?

Приказчик закрыл дверь, скинул шапку.

— Беда, господин! — хрипло выдавил он.

Хозяин сбросил простыни, вскочил.

— Ну!

Из-под густых бровей приказчика сверкнули нелюдимые глаза. Он засопел, разгладил бороду и сказал угрюмо:

— Трех пымал, а четвертый угребся, жильный бес, и челобитную на тебя, хозяин, уволок!

— Девки, облачать! — заревел заводчик, и глаза его налились злобой. — Я им покажу челобитье! Я им...

Он задышался от ярости. Девки мигом облачили его. Красный, распаренный хозяин выскочил за порог бани и заорал на весь заводский двор:

— Плети! Ратая!

На его зов с высокого крыльца сорвались и бросились навстречу дядька-кат и серый волкодав Ратай.

2

Рассвирепел-залютовал хозяин, разошел во все концы конные дозоры. С усердием они обшарили горы, чащобы, болотистые зыбуны да изрыскали тайные тропы, но беглец-челобитчик как в воду канул. Ушел удалец и унес горькую жалобу на заводчика.

Задержанных утеклоцов-бедолаг заковали в тяжелые дубовые колодки и бросили в яму. Хозяин и кат отводили душу на несчастных; каждый день они спускались в глухое подземелье и чинили расправу: жгли каменным железом пятки, полосовали кошкой, подпаливали бороды, но молчали бедолаг. Ни одним словом, несмотря на страшные муки, не обмолвились.

По уграм на шихт-плац сгоняли всех заподозренных и секли кошками. Еще пуще обезумел от крови заводчик. На избитых, измороженных натравливал он пса-волкодава. Пес рвал икры, опрокидывал людей на землю и грыз.

Троих унесли с шихт-плада замертво с изорванными глотками. По заводу прошел глухой слух, что темной ночью кат сбросил с плотины грузные рогожные кули.

А пока шли суд и расправа на заводе Прокофьева, утеклец-челобитчик достиг города Екатеринбурга. После долгих мытарств добрался до горного начальника и вручил ему мирскую жалобу. Жаловались в ней работные, что Прокофьев обременяет людишек непосильной работой, истязает их нещадно, а баб и девок берет себе на утеху.

Горная канцелярия всколыхнулась — учуяли приказные в этом деле доходную статью. Давненько добирались они до денежной кассы заводчика, да причины не находилось. А тут челобитная подоспела — само счастье шло в руки.

По жалобе проворно нарядили следствие; на завод наехали горные начальники и стали допрашивать работных и потерпевших девок. Все в один голос показали на безмерное утеснение. Следователи жили на заводе долго, тянули допросы, изводили бумагу.

Заводчик не дремал, умчал в Екатеринбург и пробыл там с месяц.

В скором времени на завод пришел указ, а в нем предписывалось: крестьян, которые изобличены в неповиновении, наказать плетьюми и сдать в солдаты. Девок за блудодейство предать церковному покаянию, а заводчика поручить наблюдению предводителя дворянства.

Дабы неповадно было в дальнейшем возмущать народ, закованного в кандалы челобитчика-ходока под сильным караулом доставили на завод и сдали на внушение заводчику.

Измученный, избитый работный предстал

пред грозные очи владельца. Суд был скорый и беспощадный. На ранней зорьке по приказу заводчика кат вывел бедолагу за ворота и пустил бежать.

Вдогонку за несчастным натравили пса Ратая.

На валу собрались мужики и заводские бабы. Глядя на эту гнусную картину, бабы утирали слезы.

Работные угрюмо молчали.

Не прошла и неделя, как на заводе случился новый переполох. Нежданно-негаданно с ночи исчез пес Ратай. Днем волкодав, как тень, следовал по пятам хозяина, а вечером ложился в коридоре у порога хозяйской спальни — стерег его крепкий сов.

И вдруг обнаружилось — нет Ратая. Поднялась суета, кричали, свистали — пес не отзывался. Хозяин насупился, помрачнел — почуял недладное.

После недолгих поисков пса нашли в темном сарае. Ратай, тихо раскачиваемый ветерком, висел на пеньковой веревке. У раскрытых ворот сарая расхаживала ворона и призывно каркала.

Пса вынули из петли, положили на землю. Подошел хозяин. Все притихли. Заводчик склонился и тоже долго молчал. Потом встряхнулся, крикнул, озлобясь:

— Так вот что с моим верным другом сделали. Погодите же!

Уйдя в хоромы, хозяин вызвал к себе попа. Заводский попик отец Иван немедленно явился

на зов владельца. В серой домотканной рясе, худой, с испитым лицом, попик боязливо переступил порог хозяйской горницы и заискивающе поклонился.

Хозяин сидел в широком покойном кресле, опустив на грудь голову.

— Извольте звать, батюшка? — прервал щемящую тишину поп.

Заводчик поднял глаза.

— Батя, беда стряслась! Сгиб мой верный друг Ратаюшка, — голос хозяина задрожал.

— Добрый был пес! — вздохнул поп. — А только вы не извольте дучиться, то все ж псина, а не человек.

— Как так? — вспыхнул хозяин. — Ведомо тебе, батя, что пес мой получше человека беррег меня! Они, они, работные, его сничтожили! — закричал заводчик. — Так я ж покажу, как превысоко стоит мой пес. Слушай, батька, пса я упрятаю в домовину, а ты панихиду отслужишь да на заводское кладбище его отнесем.

Поп вынул глаза.

— Сегодня заупокойную отпоешь! — поднялся с кресла заводчик.

Поп скрестил на животе руки, собрался с духом, осмелел.

— Увольте, милостивый. Скотину, а наипаче пса канонами православной церкви не дозволено поконть на людском погосте. Не могу.

— Как? — вскипел заводчик, сжал кулаки и тяжелым шагом пошел на попа. — Как ты смеешь мне в том отказывать? Я тут царь и бог. Убью! — Заскрипел он зубами.

Поп испуганно пал на колени.

— Расскажите, не могу! Лучшие прикажи-

те принять мученическую смерть, чем господа обидеть.

— Дурак, сот пять отсыплю, хорони пса! — не отступал хозяин.

— Ох, и велик соблазн, — вздохнул поп, — да не могу. Ох, не могу! Расстригут меня.

— Кто?

— Известно кто, митрополит. Ох, пощади, батюшка!

Хозяин прошелся по горнице, кивнул головой:

— Ладно, поговорим и с митрополитом!

4

Отказ попа отнюдь не смутил настойчивого горнозаводчика, а только добавил куражу. «Что бы там ни было, а свое возьму!»

В ближайшие дни он съездил в Екатеринбург, отыскал бойкого писца и настроил челобитье митрополиту. В ходатайстве господни заводчик писал:

«Ваше преосвященство.

Во имя отца и сына и святого духа. Я, покорнейший и смиренный ваш и православной церкви недостойный раб, дерзаю просить о дозволении настоятелю нашему отцу Ивану отслужить панихиду о преданном друге нашем, безвременно положившем живот, — Ратае. Благочинный прихода отказал нам в том и в захоронении его на заводском погосте, ссылаясь на то, что Ратай есть существо четвероногое — пес, а не человек. Осмелюсь опровергнуть сие доказательством. Первое — у Ратая очи глядели по-человечьи, были умильные и умные. Второе — был нам до-смерти предач и не любил нерадивых и суесловных рабочих людишек. В-третьих — ни пития, ни озорства, ни блуда за ним не зна-

чиюсь, ибо облегчен он был во младенчестве. К тому, ваше преосвященство, нам известно «Блажен, иже скоты милует», и по канонам православной церкви по скоту допускается богослужение. Всем ведомо молебствие о скоте в егорьевский день, а также и то, что преподобные Лавр и Флор издревле почитаются в русском народе за покровителей коней. Посему слезно просим вашу милость снисзойти к убогостворению нашей почти-тельнейшей просьбы. От скудости нашей вносим вам при сем пять тысяч ассигнациями на обновление святого храма и прочие богоугодные надобности. Из сего вы сами видите, сколь рачительны мы к делу веры нашей и в преданности к вам, ваше преосвященство.

К сему руку приложил ваш покорнейший слуга, владетель железодельных заводов

Прокофьев.

Получив слезное послание заводчика со вложением пяти тысяч, митрополит по части денег не морочил себе голову — богомерзкие ассигнации, дабы не было соблазна младшей братии быстрехонько прибрал к рукам. Что же касается молитвословия о псе и его погребении, он долго совещалялся со священниками и вынес весьма осторожное решение, которое и довел до сведения заводчика.

«К нашему глубокому прискорбию вопрос о сем не может быть определен за недостатком материалов». —

гласила резолютивная часть сего деликатного решения.

Ответ митрополита обрадовал заводчика. Он потребовал к себе отца Ивана и показал ему отписку. Отдав должное домашним настойкам, заводчик и поп долго совещалялись и пришли к выводу, что письмо митрополита — безу-

словно добрый знак, а за материалами дело не станет.

Спустя несколько дней по окрестности разнесся слух, что к попу отцу Ивану явилась честной жизни богоугодная старушка и на духу поведала ему про дивный сон. Снилось ей, будто на облаке, в окружении ангельского сонма, на землю спустился преподобный Христофор. Лик его был, как то известно из писания о житии его, косматый, пенный. И сказал пенноголовый Христофор безгрешной женке не то грозно, не то ласково: «Иди, честная вдовица, и поведай православным, что послан я был господом-богом на землю и принял муки в образе неа отверженного».

Многие слышали эту женку, ибо она словоохотливо, со слезами на глазах и с дрожью в голосе, кротко рассказывала о чудесном явлении. Однако заводские рабочие проявили себя маловеерами и потешались над женкой.

После сего необычного случая поп Иван и заводчик Прокофьев составили новую челобитную. В ней они обратили внимание его преосвященства митрополита на то обстоятельство, что преподобный мученик Христофор, как то явствует из книги жития святого, имел пенную наружность. Это свидетельство пенорочной заводской вдовицы о необычном явлении святого мученика, хотя и во сне, указывает о рачительстве преподобного Христофора в сем деле. Известно, что глас народа — глас божий. А кто сия смиренная, богомольная женка, как не народ?

К новой челобитной, по совету попа Ивана, господни заводчик приложил пятнадцать тысяч рублей ассигнациями на обновление риз и престола.

Никому неизвестно, какое обстоятельство возымело действию на его преосвященство митрополита. Но, как бы то ни было, от митрополита последовала собственноручная отписка. В ней значилось:

Через отца Ивану и владельцу заводов
господину Прокофьеву.

Во имя отца и сына и святого духа.

Имею вам сообщить, смиренные чада церкви нашей, — поскольку в известном деле было заявлено ходатайство преподобного мученика Христофора, постольку мы не можем чинить препятствий к молитвословию о милосердии божьем к скоту, с захоронением его подобающим образом.

Пока шла переписка, пса Ратай был упрятан в холодный подвал, но это нисколько не помогало, — труп пса предавался гниению со всеми присущими сему случаю явлениями.

Поп Иван отнес «упокойника» заглазно, после чего пса извлекли из подвала, уложили в долбленную дубовую домовину, в какую кладут умерших коржаков, и с пышностью отнесли на заводский погост, где и погребли среди христианских могил.

5

Действия заводчика усилили ропот и недовольство среди работных. Последнее дело возымело силу. На третий день после погребения пса, рано утром, после крепкого и освежающего сна выйдя на крыльцо, хозяин отшатнулся.

Посреди крыльца лежал извлеченный из могилы труп Ратая. Невыносимый своим видом, он скалил на хозяина зубы. Подле его оскаленной пасти лежало подметное письмо.

Возмущенный заводчик схватился рукой за сердце и молча убрался в покои. Приказчик прочел господину письмо:

«Убрали одного пса, уберем и другого — и главного. Разумей, хозяин!»

Заводчик за весь вечер ни словом не обмолвился с приказчиком.

«Ну, быть грозе, — думал тот. — Иди беду!»

Но прошло немало дней, а хозяин не призывал ката. Струсил заводчик, потемнел, осунулся, но из-за гордыни не сдавался.

В народе в старое время бытовало поверье — кто гроб загодя сделает или памятник на своей будущей могиле заживо поставит, тот долговечен на земле будет.

«Погодите! — храбрился заводчик. — Вы меня смертью пугать. Так вот, гляди, назло вам оттяну монумент, да ишшо какой!»

Заводчик выбрал на кладбище сухое высокое место — золотые пески. Отсюда видны кругом горы и леса. Над будущей могилой возвышалась вековая могучая пихта, а кругом расстилались пахучие травы. Издалека сюда привезли мрамор. Большой искусник-итальянец год трудился над камнем и вырезал диковинный монумент. Все ходили на кладбище и дивились невиданному итальянскому мастерству.

Заводчик к этому времени совсем заныл жиром. Он рассказывал по заводу и похвалялся:

— Видали-зрели? Ни, какой монумент возвел. Я ишшо сто годов отбрякаю!

Но все случилось иначе.

Весной по буйной верховой воде по Чусовой-реке гнали груженные железом струги. И страе-

лась тут беда. Бурливая внешняя волна подхватила струг, понесла стрелой и с ревом хряснула его о каменную грудь бойца.¹ Струг качнулся, раскололся, и тяжелый груз пошел на дно. А за ним утонул и заводчик.

Никто не дознался: то ли нарочно потесные² головной струг на бойца направили, то ли в самом деле неожиданная беда нагрянула...

Роскошный монумент на кладбище так и остался стоять вдусте.

¹ Бойцами называются высокие скалы на берегах реки Чусовой. О них в былое время часто разбивались струги.

² Потесные — руземе.



ПОВЕСТЬ О ЗЛОКЛЮЧЕНИЯХ ПЕРВОГО РУССКОГО ЗОЛОТОИСКАТЕЛЯ



Завод и крепость Екатеринбург отстроили в 1724 году среди гор и дремучих лесов. На север и на юг простирался скалистый Каменный пояс; в его недрах лежали неисчерпаемые рудные богатства и самоцветы.

Несколько лет спустя в отстроенном городе была налажена небольшая гранильная мастерская.

Устроил ее иностранец — шведский поручик Реф, которого вывез на Каменный пояс берг-советник Василий Никитич Татищев, впоследствии известный русский историк. Берг-советник находился в заграничной командировке, где и встретил Рефа — любителя и знатока гранильного дела.

Поручик был человек строгого нрава, очень начитанный и хорошо знал свойства самоцветных камней. По приезде он деликом ушел в гранильное дело. В мастерской появились

первые гранильные станки; старые кержаки-горщики искусно резали самоцветные камни и наводили грани.

Первыми самоцветами, которые попали в екатеринбургскую гранильную мастерскую, были тумпасы и строганды — кристаллы горного хрусталя. Тумпасы — кристаллы дымчатого цвета, а строганды — прозрачные, как слезинка.

Самые красивые и крупные тумпасы в гранильную мастерскую приносил кержак Ерофей Марков из Шарташа. Село это лежит в пятидесяти верстах от Екатеринбурга; оно было сплошь заселено кержаками — угрюмыми, трудолюбивыми людьми. Кержак Ерофей Марков, однако, был человек веселый и очень подвижной. За сотни верст кругом он обходил все шиханы¹ и чащобы, и никто лучше его не знал месторождений самоцветов. Он чутьем угадывал скрытые свойства тумпасов. Еще до появления камня в гранильной мастерской он начинал играть в руках Ерофея Маркова. Горщик знал, что каждый «дым» может чудодейственно заиграть другим цветом. Ерофею была известна одна тайна — он со своей женой Прасковьей Васильевной делал чудеса с дымчатыми тумпасами. Камень густого цвета они запекали в хлебной корке, и дым тумпаса после этого превращался в золотистый или нежножелтый. Казалось, в кристалле горного хрусталя застыла капелька солнечного сияния. Дело на вид было простое, но нужно было знать, как запекать и какого «дыма» тумпас можно и следует запекать.

¹ Шиханами на Урале называют скалистые вершины гор.

Ерофей бережно обмусолил находку, камушек не терял блеска и был тяжелее тумпаса. Горщик тщательно завернул его в тряпицу и отнес домой.

Кержачка, жена Ерофея, долго разглядывала принесенное.

— Кто ведает, что это такое? Только думаю я, Ерошка, недобрый это камень. Брось его, окаянного, куда-либо подальше от людских очей! — предложила она горщику.

Но желтый камушек околдовал горщика, он не расстался с ним. Утром старик отвез строганцы в Екатеринбург и сдал в гранильную мастерскую. Там, перед раскрытым оконечком, сидел сухощикий старик с плутоватыми глазами. Этот гранильщик был известный знаток уральских самоцветов. Ему-то и решил Ерофей показать свою диковинную находку. Горщик вытащил из-за пазухи заветную тряпицу и показал стеру желтые камушки. У старика засверкали глаза. Он жадно взял камушки и накалил на огне; затем на маленькой болванке небесным молоточком он сковал желтую пластиночку.

— Ну, брат, — заснял старик, — неужто так это нашел тут, на Каменном поясе?

— А что? — дрогнуло сердце горщика.

— Да знаешь ли ты, что нашел? Ведь это золото!

— Неужто? — Ерофея обдало жаром.

— Истиня бог, золото! Сказывали, в нашем царстве-государстве его вовсе нет. А тут вот — из!

Старик вертел, любовался желтенькой пластинкой.

— Ну, Ерофей, счастье тебе привалило! — что-то зло обнадежил горщика мастер. — Отнеси ты

эти камни в горную канцелярию. Там, мил-друг, благодетельствуют тебя!

Горщик упрятал свое нежданное богатство за пазуху и вышел на улицу.

По небу ползли низкие серые тучи; налетевший с исетского пруда ветер поднял клубы пыли; в крепости отбивали куранты. Ерофей прикинул — время позднее, в горную канцелярию он опоздал и решил отправиться домой.

За ужином он рассказал старухе про совет гранильщика. Женка опасливо оглянулась на спящее окно и перекрестилась.

— Что ты! Что ты, батюшка! Господь с тобой! На беду с табанюхами свяжешься. Оди, Ерофей, не к добру этот камушек попал. За тебе!

Всю ночь старик-добытчик не мог уснуть, ждался. «Как же быть? — думал он. — Старый ты ильщик неглупый, бывалый человек, зря камни не сболтает. Неужто отречься от награды? И горе-то какое!»

В углу перед древними иконами слабым мерцающим огоньком светилась лампада. Горщик не утерпел, добыл из-под подушки заветный узелок, сполз с кровати и разложил на столе камушки. Они светились холодным тусклым блеском, но Ерофей не мог оторвать от них взора.

Никогда до этого с ним ничего подобного не случалось. Старик-гранильщики по-своему верили в таинственные свойства камней. Рассказывали, что есть самоцветы, которые излечивали болезни, но есть и худые камни. Они, как и дурной глаз, приносили порчу и беду. И по нынешний день среди горщиков жило предание о царе Иване Васильевиче Грозном.

торый в самый день смерти сказал иностранцу Горсею:

— Полюбопытствуй на сей чудесный коралл и на сию бирюзу. Возьми их на ладонку. Они приличественно хранят яркость своего цвета. Положи их теперь в мою руку. Я заражен болезнью. Видишь, они гускнеют, ибо предвещают мне смерть. . .

Про тумнасы и строганцы гравиальщики говорили, что это светлый камень — он чист и безоблачен и всегда приносит счастье и тихую жизнь.

Ерофей закручинился:

«Неужто и впрямь золото — колдовской камень? Неужто он от мамыны, но отчего-сь не могу оторвать очей?»

Жил кержак Ерофей просто, не зная дум. Искал он тумнасы и строганцы, и все было ясно. Явился желтый камушек, и заскребло тут на сердце. . .

Утром, не глядя на попреки жены, Ерофей ушел в крепость.

Навсегда запомнился ему день, когда он явился в горную канцелярию. Это было 21 мая 1745 года. Он предъявил горным начальникам свою находку.

В большой светлой комнате с высокими стрельчатыми окнами, в которые падали косые лучи солнца, стоял огромный стол, покрытый зеленым сукном; на столе поблескивало петровское трехгранное зеркало. В креслах, обитых штофом изумрудного цвета, в пыльных париках сидели три важных бритоусых саксонца. Сидящий посредине, осанистый, с носом стервятника, нахмурился и сердито спросил Ерофея:

— Зачем пожаловал? Разве ты не знаешь, что мы весьма занятые люди?

Горщик не сробел: он снял с головы шапку, перекрестился на красный угол и доложил весело:

— Дело государево заставило, ваша светлость, господин хороший. Нашел я камень — металл, и по царскому указу, кой бирюжи на Москве кликали, объявку о том делаю!

Ерофей развернул тряпицу и выложил на стол пластинку и желтые камушки.

— Что это? — грозно сдвинул брови саксонец.

— Сие есть золото! — Ерофей радостно посмотрел на бригосов.

Они заметно оживились, серая сонливость и безразличие к горщику быстро сшли с их мясистых лиц.

— О! о! — прохрипел саксонец, и его толстые пальцы, унизанные перстнями, потянулись за золотой пластинкой. — Поддай сюда!

Он взял пластинку и поднес к прищуренным глазам.

— Золото! Золото! — шептал он и вдруг захохотал громко и дико. — Где ты его взял? Тут в горах? Разве может быть золото в России? Ты своровал это, мужик!

Ерофей построжал, сурово сдвинул брови.

— Мы народ честный, воругами весь наш род не бывал. Золото это найдено в шурфе, на болоте у речки Березовки. Он оно как!

— О! о! — раскрыл от изумления рот саксонец и, повернувшись к персонам в париках, спросил: — Что скажете, господа?

Те с любопытством разглядывали желтые камушки.

Саксонец вышел из-за стола, подошел к Ерофею и похлопал его по плечу:

— Молодец! Если это так, жди награды! А сейчас иди, мы совет будем держать.

Горщик вышел в канцелярию, где через час шпечки объявили ему, что в Шарташ на-днях наедут чиновник горной канцелярии ассессор Порошин и штейгер иноземец Вейдель. Велено им осмотреть и разведать конаннем вглубь то место, где Ерофей отыскал свою находку.

Горщик повеселел и подумал: «Напрасно я кручинился. Камень, знать, в мои руки уго-дил счастливый. Он оно как повернуло!»

И старик заторопился в Шарташ поделиться с женой своей радостью.

2

Спустя несколько дней на Шарташ наехали рудоведы горной канцелярии ассессор Порошин и штейгер Вейдель. С ними была работная дружина. Ерофей повел их на знакомое место.

Работная ватага, приведенная в лес, быстро расчистила Ерофеев шурф и выкидывала влажный золотистый песок. Ассессор Порошин и штейгер Вейдель сидели в тени и ждали результатов поисков.

Никто, даже Ерофей, сидевший тут же неподалеку от шурфа, не заметил, что рабочие вместе с золотистым песком выбросили несколько «скварчинок»; они-то и показывали, что где-то неподалеку залегает коренное месторождение золота. «Скварчинки» быстро завалили новыми штыбами земли. Песок в шурфе околзал,—на дне обильно просачивалась вода. Пришлось вычерпывать ее из шурфа ведрами. Поисковые кляли на чем свет стоит Ерофея: шурф

углублялся, грозил обвалом, а золотой жилы все еще не было.

Горщик сидел мрачный, насунувшись. Он не верил своим глазам, даже попадавшиеся густодымчатые крупные тумпасы не радовали его. Золотых камушков так и не отыскалось.

Злой и высокомерный Вейдель подозвал Ерофея:

— Расскажи, как ты нашел золото?

Кержак в сотый раз повторил о том, как попались ему «скварчички», но штейгер только пожимал плечами.

— А где же жила? — упрямо допытывался он о золотой жиле, не понимая, что находка Ерофея — золотая россыпь.

Ерофей угрюмо молчал.

Ассессор Порошин тоже нелюдимо поглядывал на кержака и грозил:

— Обманул, старый филин. Драть бы тебя!

— Истин бог, тут было найдено, — перекрестился горщик, но Порошин не поверил ему.

Поиски оказались напрасными: в шурфе Ерофея Маркова золота не нашлось. Старый горщик устал духом.

«Вот оно, счастье-то, — с горечью подумал он. — Понапрасну не послушал я женки. Колдовской желтый камень всем отвел глаза. Быть беде!»

Чиновник и штейгер сели на коней и уехали, а Марков ушло побрел домой.

«Что же случилось?» — с горечью думал он. Ведь он сам держал в руках золото, найденное именно здесь! Сколько ни ломал он голову, — не мог найти объяснения непонятному явлению. А объяснение было простое. Ерофей Марков попал на россыпное золото. Добыча такого зо-

лота производилась тогда в Венгрии. Только там и знали, как его отыскать и извлечь из песка. На уральских заводах со времени царя Петра Алексеевича работало много иноземцев-штейгеров. Они разрабатывали железные и медные руды, а с добычей россыпного золота не были знакомы. Не знали этого и штейгер Вейдель.

Между тем, по приезде в крепость, ассессор Порошин донес начальнику горной канцелярии, что находка Маркова не подтвердилась и в шурфе при поисках оказались кварц и тумпасы.

Начальник горной канцелярии прочел это донесение и задумался:

«Как же так? Но ведь кержак приносил настоящее золото! Где же он его взял? Выходит, старик хитрит, обманывает. А что, если допросить с пристрастием?»

Вскоре в Шарташ помчался нарочный; Ерофея Маркова требовали немедленно явиться в горную канцелярию.

«Вот когда началось, — с тоской подумал кержак. — Затаскают теперь мои старые кости. Ох!»

Ерофей сердцем почувал беду и не ошибся.

Только переступил он порог знакомой палаты, как сразу заметил — у двери ее стояли рослые горные солдаты с мушкетами. У окна на полу сидел лохматый кат в красной рубахе, в руках у него была жильная плеть. При входе в палату Ерофея кат ощерился.

Горщик побледнел, но собрался с духом. Твердым шагом он подошел к столу, за которым сидел грозный начальник. Саксонец, не мигая, как стервятник на добычу, смотрел на кержака.

— Я знаю, ты обмануть хотел нас, но...

— Пегин бог, вот те Христос, — перебил Марков грозного начальника и перекрестился, — истинно показал все, как есть, без утайки!

— Замолчи! — привстал с кресла берг-начальник. покраснел и, указывая на ката, пригрозил: — Будешь бит!

— Помилуй бог, — прошептал побелевшими губами Ерофей. — Николи вором не был.

Саксонец молча прошелся по комнате, успокоился и подобревшим голосом сказал:

— Хорошо, я еще раз буду тебе верить, ты покажешь золотое место. Я больше не буду тебя трогать. Иди!

Тяжелым шагом вышел Ерофей из горной канцелярии. На душе было сумрачно: мерещился лохматый кат с жилой плетью.

«Неужто побил бы?» — спрашивал себя Ерофей и вдруг понял всю тяготу своего положения.

Через несколько дней на Шарташ наехали ассессор Юдин и новый иноземец — штейгер Маке. С ними прибыла свежая партия рабочих. Шарташские кержаки попрыгались.

«Эк, накликал Ерошка беду! Не откупишься, не открестишься теперь от скобленных табашников», — недовольно думали они про Маркова.

Ерофей повел понсковых к проклятому шурфу. Штейгер Маке внимательно осмотрел изрытый копань и, отсчитав от него сотню шагов, подалее от болота, велел рабочим заложить новый шурф.

— Так будет лучше, подалее от воды. Копань глубже и шире! — приказал он рабочим.

Понсковые крепыши дружно взялись за работу. Тяжело им было смотреть на Ерофея —

бодрый, живо́й старик осунулся, потемнел. Всю дорогу он клялся им, что место его верное, а куда подевалось золото — не знает. Видно, сам нечистый отводит глаза. Среди поисковых были кержаки; они знали Ерофея как честного человека.

— Ты не удручайся, братец, — успокаивали они горщика, — мы с молиговкой да с крестом робим — никакая нечисть не помешает нам. Откопаем золото! Только, ваша милость, — просили они поныхивающего трубкой Маке, — стойди под ветерок, не души нас табачищем. Уж мы постараемся!

Маке добродушно улыбнулся и отошел под ветерок. Сизый дымок из трубки отгонял от его лица кемаров. Ассессор Юдин сидел у костра, где дымили серые еловые лапы. От дыма першило в горле, но зато сюда не достигало комарье.

Все шло хорошо, спокойно, и в душе Ерофея снова затеплилась надежда: может быть на этот раз поиски будут успешными. Он бродил по кромке болота и отыскивал тумпасы. В этот день и тумпасы легко шли в руки — попадались добротные и пригожих дымов. Неподалеку от болота Ерофей нашел в чаще залежи новых незнакомых камушков. Трижды отходил и возвращался к ним горщик. «Опять нечистый шутит. Вновь нагрянет другая беда!» — опасливо рассматривал он новую паходку. Но не утерпел и отнес их штейгеру Маке.

Саксонец осмотрел камушки и узнал своих старых знакомых. Это была свинцовая руда, которую он в свое время добывал в Саксонии. Маке отвлек несколько человек рабочих от шурфа и отправил на поиски свинцовой жилы.

Новая находка Ерофея оправдала себя: поисковые напали на залежи свинцовой руды.

Между тем, сколько ни углубляли шурф, золота так и не нашлось. Оно было понятно: золотая россыпь лежала ближе к болоту, а шурф заложили в противоположной стороне. Но ни Маке, ни ассессор Юдин не додумались до этого. Они все искали золотую жилу, а ее и быть не могло.

Маке недовольно поглядывал на Ерофея, покачивая головой. Поисковые донесли, что и свинцовая жила ведет себя, не подобая прочим жилам: быстро оборвалась, и выходит все ни к чему. «Обманщик, — подумал и Маке про старого горщика. — Хотел свинцовой жилой глаза нам отвести».

В тот же день ассессор Юдин послал нарочного с донесением в горную канцелярию. В нем он так же, как и Порошин, сообщал:

«В указанном Марковым месте и в окрестных местах золотой руды не найдено, а в шурфах попадаются только пустой камень и глина, и шуровать тут не для чего. А свинцовая руда хотя и может быть вчтена за жилу, но сродни заграничным не будет, ибо вдале надежды не кажет».

Ерофея Маркова отпустили во-свои, а сами горные начальники вернулись в крепость. В канцелярии встревожились. Начальник был вне себя. Он пошел на угрозы, но угрозы не действовали, ему казалось — кержак упорствовал и затаил золото.

«Маке и Вейдель отменные знатоки руд, — думал он, — не может того быть, чтобы они не узнали золотой жилы».

— Вор, вор, раскольник! — кричал саксовед на всю горницу.

В ближайшие дни в палате с большим зеленым столом состоялось совещание чинов канцелярии. Ассессоры Порошин и Юдин зачитали велух свои доклады. После них говорил Маке: он негодовал, что их, честных саксоведов, водят за нос.

— Кержаки — скрытный народ, они не хотят царю прибыли. Надо для острастки наказать старого плута! — зло говорил Маке.

Начальник горной канцелярии одобрительно кивал головой; все единодушно заподозрили Ерофея Маркова в утайке золотой жилы.

Горщик не чувствовал, что над его головой собирается грозная туча.

8

В один из ясных августовских дней на Шарташ пришли незваные гости — пыльные, потные солдаты. Привел их рябой, громадного роста капрал. По его приказу солдаты окружили Ерофея и погнали в крепость. Все это произошло неожиданно и быстро. На крик и слезы Прасковьи Васильевны со всего Шарташа сбежались кержаки. Они гудели, как растревоженный пчелиный рой. Корнили раскольницу:

— Свяжались с табашниками! На все село беду навели! Что теперь делать?

Женка всхлиывала и утирала слезы.

Ерофея в это время вели по пыльной улице. Он не смел поднять глаза на знакомые домики: всюду у ворот стояли кержачки, ребята, девки. Они тыкали руками, показывали на старика:

— Повели остуду!

Сердце Ерофея разрывалось на части. Его вели, как вора, среди бела дня по знакомой дороге. Все встречные с удивлением и страхом поглядывали на горщика и покачивали головами. Конные сельчане, завидя конвой, окружавший Ерофея, сильнее подхлестывали коней, стараясь быстрее промчат мимо земляка, — им самим стыдно было встретиться с глазами Ерофея.

Крепкий, подвижной горщик сразу сдал, он еле тащил ноги. Солдаты покрикивали:

— Шибчей, шибчей ишел!

Маркова привели в крепость. На плацу перед солдатским строем горнист играл вечернюю зорю. Небо было тихое, теплое; вечернюю густую синь чертили острыми крыльями низко летающие стрижи. Старик тяжело вздохнул, на глазах у него блеснули слезы.

Солдаты втокнули горщика на гауптвахту и заперли на крепкий запор. Караульный иввалид принес Ерофею кружку воды и кусок черствого хлеба.

— Достукался, сердешный, — с соболезнованием поглядел он на арестанта. — Ничто, не печалуйся. Ко всему привыкать надо. Отведай нашей ежи!

Горщик не дотронулся до еды: всю ночь, не смыкая глаз, он просидел на нарах и с тоской смотрел в мутное оконце, — за ним в небе мерцали тихие звезды.

На другой день Ерофея под конвоем доставили в горную канцелярию. В обширной палате, так хорошо знакомой ему, заседали важные пачальники. Все были в суконных камзолах, на рукавах кружева, белели пышные парики. Главный берг-начальник вынул из кармана камзола табакерку, достал табак и сделал сладкую по-

нюшку, после чего громко чихнул. Чиновники подобострастно пожелали ему доброго здравия. Начальник помолчал, поднял серые неприятные глаза на Ерофея и сказал строго:

— Господа ассессоры и я ждем твоего истинного признания.

Ерофей низко поклонился.

— Истин господь, все вам поведал без утайки. Ослобоните, буду внове искать, может напад на поганый камень. . .

Саксонец откинулся в кресле.

— Ты слышал, что прочли тебе, — сказал он. — Ежли есть столь имущие люди, допустим поруку, а ты тем временем подумай об истине. . .

— Все чул, но, истин бог. . . — Ерофей не договорил, поник головой, — он понял, что ему все равно не поверят, но возможные две недели свободы после ночи, проведенной на гауптвахте, заставили его встрепенуться. — Ваша милость, меня знают грацильщики, может они поручатся. Прошу спросить их.

Начальник переглянулся с чиновниками, кивнул головой:

— О сем решим, а пока до порук надлежит отвести под караул!

Солдаты вывели Ерофея на крыльцо. Здесь на приступочках сидела женка Прасковья Васильевна и знакомые грацильщики.

— Братцы, братцы, — обрадовался Ерофей. — Безвино страдаю, без порук не отпускают из-под караула.

Женка повалилась в ноги держакам-грацильщикам.

— Отцы милостивые, не оставьте сироту. Не виновен Ерошка мой! — взывала баба.

Держаки поднялись с приступочек крыльца.

тяжело переминались. Самый старый потушил глаза, о чем-то глубоко размышлял.

Ерофей поклонился старикам:

— Не выдайте, братьцы!

Бородатый гранильщик поднял глаза на мастеров.

— Как, други? Ерофей — наш, древлей веры. Так неужто погибать ему от табашников?

— Пошто? Дадим поруку, — загалдели гранильщики. — Животы положим, раз такое горе нахлынуло!

— Родимые мои, милостивцы, — заголосила женка и заторонила поручителей. — Айда-те к аспидам, а то разойдутся аль передумают.

Солдаты потащили Ерошку на гауптвахту, а кержаки двинулись в канцелярию. Писчики и начальство немало почвапились, поворчали, но дали согласие на поруки. С кержаков взяли клятвенное обещание и писали о том бумагу, что они поручаются своим хозяйством и животиной, что казна не станет в убытке.

Вечером Ерофея Маркова освободили из-под стражи, и он первым делом побежал в гранильную мастерскую поблагодарить своих поручителей.

Гранильщики встретили горщика неприветливо. Молчали, переглядывались.

— Во чо, Ерофей, — предложил вдруг дородный старик. — Не связывайся ты с табанюхами и бритоусами, поведай им истинное место, где желтый камень добыл. Пес с ним, и дело с концом!

— Непременно отвяжутся! — поддержали остальные гранильщики.

— Братьцы, и вы с ними заодно. Вот крест! — Ерофей перекрестился истово. — Все поведал,

Все были известны царские указы, поощряющие розыски руд, металлов и самоцветов, а тут вдруг над Марковым вместо награды устроили позорище и грозили лишить его живота. Молва о находке Ерофея и наказании горщика быстро облетела все уголки Каменного пояса, и надо было опасаться, что подобные меры надолго отобьют у всех охоту к поискам.

Ерофей непрестанно отыскивал для гранильной мастерской тумпасы и строганды, но крепкого кержача словно подменили. Он стал угрюмый, заметно постарел, в густой бороде появились пряди седины. Когда-то словоохотливый, шутник, он теперь больше отмалчивался и недоверчиво поглядывал на собеседника. Приносимые им в гранильную мастерскую тумпасы и строганды непрестанно были самые лучшие. Каждый две недели горщик являлся пред грозные очи начальника горной канцелярии. Тот, хотя и имел самоуверенный и спесивый вид, однако в душе побаивался горщика. «Кто знает, что он думает? Может от обиды и ножом нырнет?»

Глубокой осенью из Санкт-Петербурга от берг-коллегии в горную канцелярию пришло уведомление и указание по делу Ерофея Маркова.

Рассмотрев присланные материалы, берг-коллегия рекомендовала с «вышеупомянутым Марковым поступать без озлобления, дабы через то к совершенному и полезному прибытку и впредь мог он трудиться и отыскивать, а о награждении за оный имеет быть впредь не оставлен».

Берг-коллегия признала, что горщик Ерофей Марков нашел подлинную золотую россыпь, чему

свидетельством явились «яко кварц, глина и песок, в чем обыкновенно золото находится».

«А понеже в тех шурфах, в которых самородное до объявлению показанного Марковым золото найдено и при свидетельстве явился кварц и прочее, как выше объявлено, и почему может быть хотя золото и находится, но оною глазами видеть не можно, того ради надлежит тамошний кварц, песок и глину малыми пробами в лаборатории пробовать толчением, промыванием, обжиганием на капелях и ртутью, а особливо, ежели песок и глина в тех шурфах лежат слоями, то надлежит всякий слой пробовать, для того что один слой с другими сходен быть не может», —

говорилось в столичной указке.

В Санкт-Петербурге заинтересовались и самим Марковым. О нем запрашивали, где он родился и где ранее жил, и чем занимается этот первый отечественный золотоискатель.

Получив столь убедительный наказ от берг-коллегии, горный начальник перетрусил и немедленно созвал в Екатеринбурге совещание из опытных иноземных штейгеров и заводских металлургов, которых оповестил о поисках золота. Однако все до одного иноземцы уклонились от предложения, ссылаясь на новизну дела.

— Песчаное золото умеют добывать в Венгрии, но поскольку мы в сих краях не бывали, добычи не видели, просим извинения, — учтиво отказывались они.

Так ни с чем они и разъехались. На землю пала сугробистая да выюжистая уральская зима, все замело глубоким снегом, и это успокоило начальника горной канцелярии. Не начинать же дело в лютую зиму?

Но берг-коллегия, однако, не успокоилась и в начале 1746 года запросила о судьбе своего

указа. В горной канцелярии перенюхались и онять вспомнили о деле. Однако и саксонцы и русские знатоки умели производить пробацію только железных и медных руд. Пробацію золота никто не знал: пришлось пробирное дело этого металла ставить заново.

Тут вспомнили и о Ерофее Маркове. Последнее время он хотя и ходил в канцелярию, отмечаясь у писчика, но после отметки сейчас же незаметно уходил. Горщик понимал, что острота прошла, к нему понемногу остыли и, пожалуй, можно было бы изредка пропускать явку в канцелярию, но боязнь за своих поручителей заставляла его каждый раз в срок являться в опостылевшую крепость. На последней явке писчик при виде Ерофея вдруг вскочил и побежал докладывать по начальству. У горщика задрожали коленки. «Неужто опять беда надвинулась?» — со страхом подумал он.

Из палаты вышел сияющий Юдин; улыбаясь, он подошел к Ерофею и похлопал его по плечу.

— Ну, Марков, радуйся, отошел господин начальник. Поручает он тебе отыскивать золото. Бери поисковых и айда в лес!

— Что вы, — испугался Ерофей, — опять кутерьма выйдет! Ослобоните, господин ассессор. Притом еще зима на дворе. Вот кабы по весне — другой резон, да и места надо прежде наглядеть. Не ко всякой местине золото льнет.

— Это правда, — согласился ассессор, — однако к весне готовься пштейгерить.

Не радовало Ерофея внезапное благоволение начальства. Когда он дома рассказал жене о новом назначении, Прасковья Васильевна замахала руками.

— Опять колдовской камень в избу принесешь, я и то все уголки святой водой взбрызнула. Еще от старой беды не ушли, а ты другую за пазухой тащишь.

Кержак не перечил женке. Но дело было не так просто, как думала она. Начальство предложило честь — штейгерить, отказом, чего доброго, опять грозу навлечешь.

Ерофей пошел за советом к наставнику Назарю. Старик спокойно выслушал его и сурово сказал:

— Надо идти, Ерофей, штейгерить, беду от всего села отведешь. Ты табанюхи и скобленные рожи сидят и видят, как бы стареверу досадить. Откажешься — будет придирка.

Горщик успокоился и стал ждать весны.

Опять наступил май. Белоствольные березки оделись нежной листвой, в дальнем бору закуковала кукушка, зацвели лесные травы. Пора в путь-дорогу — отыскивать золотые места!

В долгие зимние ночи, лежа на теплых волатах, под завыванье метелей, Ерофей не раз вспоминал свою первую находку. Как-то чутьем додумался старый горщик, что тумпасы и золото чем-то связаны. Решил он, что тумпасные места есть в то же время и золотиносные.

В июне над Шарташем отгремела первая запоздалая гроза. Шарташ-озеро посинело, вздулось, белогривые валы полезли на каменный берег. Над Каменными палатками¹ ударил гром и расколол мшистую скалу.

После грозы буйно поднялись хлеба, травы, как хмельной, зашумел лес. Легко дышалось. С котомкой за плечами и подошкой в руке

¹ Каменные палатки — скалы под Шарташем.

Ерофеем обогрел знакомые болотинки и горные доли. Омывтые песчаные заберега ручьев и родников манили к себе старого горщика — здесь он находил тумпасы и клал метки для шурфов.

Дней через десять Ерофей явился в горную канцелярию к ассессору Юдину. Тот выслушал держака и на другой день отрядил с ним поисковую партию. Горщик повел ее в лес.

На знакомых местах, где Ерофей находил тумпасы, заложили три шурфа. На этот раз горщику повезло — во всех трех поисковые нашли золото. В первых двух на заступ полагались «скварчинки» с вкрапленными зёрнами золота, а в третьем объявилась железная руда, на которой поблескивали золотые крупицы. Ерофей отрядил нарочного с известием в канцелярию. Там облегченно вздохнули:

«Наконец-то можно учинить отписку в берг-коллегню!»

Дальнейшие поиски, однако, прекратили. Шурф с железной рудой оставили без внимания, а «скварчинки» из двух первых ям наметили к пробам.

На этот раз начальник вызвал Ерофея к себе и подарил ему серебряный рубль.

— За богом молитва, за царницей награда не пронадаст, — по-своему высказал русскую половицу саксонец.

Но не рублю был рад Ерофей, а тому, что чиновные люди наконец-то отвязались.

На этот раз Ерофей вернулся в Шарташ бодрым и веселым — угрюмости как и не было.

Берг-коллегия не угомонилась; в Петербурге очень заинтересовались поисками русского золота. По самому пути в зиму 1747 года в Екатеринбург наехал из Москвы пробирный мастер

Рюмин, которому берг-коллегия предписала отыскать по указанию Ерофея Маркова старые шурфы, взять потребное количество песка и глины и самолично опробовать на золото. В ожидании весны под наблюдением Рюмина возвели горы для плавки и муфель.

С первыми весенними днями в шурфах Ерофея Маркова была взята новая проба песка и глины, и Рюмин сделал анализ, который показал, что в камушках настоящее золото, но залегание его в грунте было весьма неопределенно, и это всех сбивало с толку. Берг-коллегия слала в горную канцелярию новые и новые требования, но гордые иноземцы не хотели признаться в своем невежестве.

Неизвестно, сколько тянулись бы отписки, если бы этим делом не заинтересовался сам Михайло Васильевич Ломоносов — первый русский ученый. Он только приехал из-за границы и привез с собой молодого знатока горного дела немца Райзера. Михайло Васильевич, дознав о поисках на Каменном мысе золота, немедленно послал Райзера в Екатеринбург. Райзер приехал не один; его сопровождал берг-гауэр Глесс. Оба они прибыли в горную канцелярию, вызвали Ерофея Маркова и очень внимательно выслушали. Летом они втроем с партией рабочих отправились на знакомые Ерофею места. Для поисков Райзер избрал тот самый шурф с жилой железных руд, который был заброшен по указу горной канцелярии.

Глесс сам забрался в конань; он с рабочими углубил его, тщательно проглядывал каждую горсть песка и неожиданно для всех обнаружил коренную жилу.

Взятые образцы руды с блестками золотинок

были опробованы и показали богатое содержание золота.

Райзер немедленно написал о том Ломоносову, поздравляя его с открытием первого русского золота.

Ерофей Марков ожил; с него окончательно сняли всякие подозрения. Кержаки-гранильщики гордились своим земляком. Даже сам господин поручик Реф стал подавать Ерофею руку.

Однако иноземцы приняли все меры к тому, чтобы потопить открытие в пучинах канцелярских отписок.

Шурфы, копанные Ерофеем, запылились, заросли молодой порослью, и все понемногу предалось забвению.

Только много лет спустя, в 1816 году, когда Ерофея Маркова давным-давно не было в живых, вспомнили первого русского золотоискателя, и на Урале приступили к разработке залежей россышного золота.



Ч Е Л Я Б А

историческая повесть



1

Воевода Исетской провинции¹ статский советник Алексей Петрович Веревкин третий день рвал и метал.

Неумытый и небритый, в одном белье, он сложился по горнице из угла в угол и охрипшим басом рычал на всю избу:

— Проды! Хапуги! Хапают без зазрения совести, а того не ведают, что гибель себе готовят... Охх...

На столе расставлены блюда с мочеными белыми грибами, огурцы, разносолы; поблескивают штофы, натасканные дворовым человеком из царского кружала. По столу рассыпан нюхательный табак, на полу в сиротстве валяется пыльный парик.

Воевода хлестал вино из простых штофов

¹ Тогдашнее административное деление Южного Урала.

безмерно да жаловался своему дворовому человеку Перфильке:

— В ноне время башковитый человек — либо пьяница, либо вор.

Перфилька почитался в доме за доверенного человека, за первого советчика воеводы по домашности. Было ему годов шестьдесят, по обличью старик весьма походил на Миколу-чудотворца — плешив, бороденка курчава.

Не раз сбывал бариин Перфильку за дерзкое слово, но Перфильке невтерпеж было, чесадся язык.

Из-за этой проклятой слабости премного влетало Перфильке. Но будучи права крайне неумного, он на бариново слово, не мешкая, отвечивал:

— То-то, сколь много хануг да ворюг в чиновных местах развелось!

Воевода глаза на Перфильку уставил:

— То есть как это?

— А так, сами знаете. Не знали бы, не клюкали бы горькую!

— Пшел воп!

— Ну, я и пойду.

Перфилька вышел, а воеводу взяли ярость и томление.

По правде сказать, и было с чего вскипеть воеводе.

Третьего дня воевода вышел на плац-парад осмотреть гарнизонное воинство Челябин, и с этого началось...

Кругом в Исетской провинции шли беспокойствия; в башкирских волостях то и дело поднимались восстания; неподалеку в Далматовской монастырской вотчине мужики монахов дубьем побили, а тут совсем, почитай, под бо-

ком Челябины, в яицком городке, стряслось столь необычное. И подумать страшно!

У воеводы забегали по спине мурашки.

Через сведущих людей дознался воевода о походе Емельки Пугачева. Сыскные людишки добыли воеводе манифест, читанный Пугачевым на Толкачевских хуторах. Известно стало, что на манифест станичники да голытьба ответили ему:

— Мы все слышали и служить тебе готовы. Поведи нас, государь, куда тебе угодно, мы поможем!

И доподлинно стало известно воеводе, — Пугачев тотчас приказал развернуть знамена разных цветов с нашитыми на них осьмиконечными крестами. Дотоле те знамена укрывались. И теперь, прикрепив те знамена к копьям и сев на коней, казаки двинулись к яицкому городку. Впереди всех ехали знаменосцы, за ними Пугачев со своими близкими, а далее шел приставший народ.

В эту пору Емельян Пугачев разослал по всем близлежащим хуторам гонцов собирать людей...

Случилось это знаменательное событие 17 сентября 1773 года, а воевода дознался о нем только в покров пресвятыя богородицы, когда народ не в меру стал дерзить и у царского кружала воеводскому писчику своротили набок скулы.

На другой день после покрова велел воевода заложить бричку и поехал обозревать вверенную ему столицу Исетской провинции. Морозов еще не было, грязь на улицах стояла несусветная. Колеса тонули по ступицу, а мундир и лик воеводы порядком-таки заляпало грязью. Город тянулся по Миассу; обнесен был кругом земляным

валом и деревянным заплотом, островьем кверху, по углам — брусьянные башни. Воевода забрался на вал, ощупал заплот. Остроколье в нем прогнило.

— Упаси и помилуй, господи, — вздохнул воевода, — ставили сей тын в давние-предавние веки; кажись, при построении города...

С той поры воеводская канцелярия ежегодно списывала на ремонт заплота немалые деньги, но куда они шли, воевода, человек непамятливый, не любил о том говорить.

С земляного вала воевода увидел весь городок: каменный угрюмый острог, градскую ратушу, государев дом провинциальной канцелярии,¹ два божьих храма, вознесших главы над Миассом, четыре царских кружала, гарнизонную караульню, почтовый дом, воеводскую избу...

У ворот воеводской избы да у одного царского кружала стояло по фонарю; они освещались конопляным маслом.

— Освещались? — воевода ухмыльнулся. — Сукин кот фонащик, он же профос,² инвалидный солдат Федотка, непременно всегда то конопляное масло сожрет с гречневой кашей.

Первое время воевода видел в том непорядок.

Федотку раза два на комендантском плацу высекли, а потом воевода рукой махнул:

— Пес с ним, пусть жрет в три брюха! Добрый человек по ночам дома сидит, а вору не к чему дорогу освещать...

¹ Управление, которое ведало административными делами провинции.

² П р о ф о с — полицейский служитель, убирающий нечистоты.

Оглядев с земляного вала город, заплотив, воевода поехал в гарнизонную караульню. В караульне на парах сидело с десяток солдат. Иной латал кафтан, иной набивал подметки на прохудившиеся сапоги, кой-кто «пеших» ловил — донимали окаянные. В караульне ходили клубы махорочного дыма, воняло кислой капустой, редькой. Стояли тяжелые запахи. Воевода чихнул и выругался:

— Густо больно!

Дородный крепкий солдат сумрачно поглядел на воеводу, пожаловался:

— От солдатской пищи ладаном не запахнешь...

Взгляд солдата страшил; лучше бы его не видеть. Воевода отвернулся и быстро уехал.

Побывал воевода и в провинциальной канцелярии, требовал от воеводского товарища Свербеева донесение: «Коликое число находится в провинциальном городе Челябинске разного звания военных, штатных и прочих людей».

Коллежский асессор Свербеев в кургузом мундире, в напудренном парике, чинный, постукал крышкой табакерки и, нюхнув, положил перед воеводой лист.

В том листе усмотрел воевода, что во вверенном ему граде не густо военным народом. Всего с посадскими людишками, чувашами, казачками и «протчими» числилось в Челябинске семь-восемь сотен душ мужского пола. Из воинских званий по команде значилось: один господин поручик да четыре капрала в летах преклонных, да цырюльник, да барабанщик. Рядовых тридцать да рекрутов двести шесть.

Воевода тяжело вздохнул, насупился. По его недоброму лицу коллежский асессор догадался —

будет «разнос». Он подобострастно изогнулся перед воеводой и стал по-пёсьи в глаза глядеть.

— Подлинно воинских чинов не велико число, — коллежский асессор для вежливого обхождения кашлянул в ладошку, — но дозвоьте, ваша милость, учесть отставных, кои на покое живут. Вот смею доложить вам...

Свербеев поднял руку: подмышками кургузого мундирчика резало. «Чорт Васька — гарнизонный швальник — опять скроил на худобу. Не забыть бы отпороть окаянного!» — подумал асессор и стал загибать худощие сухие пальцы:

— Отставных капитанов два, поручиков один, прапорщиков два, сержантов...

— Оставить! — захрипел воевода, хлопнув ладошкой по столу.

Писчики провинциальной канцелярии переглянулись и старательней заскребли гусиными перьями. Щеки у воеводы задрожали, нос стал сизым.

— Хватит! — опять хлопнул ладошкой воевода, расстегнул и вновь застегнул на все пуговики борт мундира.

В присутствии все притихли, стало слышно, как билась в паучьих тенетах докучливая муха.

Воеводский товарищ обошел стол: «Подальше от начальника. Чего доброго, хватит в сердцах!»

Но воевода внезапно остыл, грузно опустился в кресло и рывкнул:

— Писать наказ!

Писчики разом засуетились.

Повелел воевода разослать по Исетской провинции строгий наказ — собрать 1300 человек

крестьян и под командою выбранных в слободах отставных солдат безотлагательно прислать их в Челябину. Настрожайше было наказано, чтобы людишки те вооружены были кто чем мог и провианту для животов своих приберегли на две недели.

Эту армию воевода наименовал «временным казачеством» и ждал от нее немалой пользы против супостатов тропы российской...

Третьего дня воевода Алексей Петрович Веревкин делал смотр сему «временному казачеству».

Воевода обходил фронт войска, выстроенного на военном плацу, и его бросало то в жар, то в холод. Что были то за люди? Воевода впился глазами в седого скрюченного мужика.

— Сколько годов?

Мужик осклабился, приложил руку к уху:

— Семьдесят. Грыжа донимает окаянная. Батюшка, а то ништо...

Рядом с мужиком стояло совсем дитё. Воевода даже о летах не справился, махнул рукой. Но пройдя шагов пять, увидел десяток таких же малюток. Не стерпев обиды, воевода, подойдя, спросил одного:

— Давно от титьки мамка тебя отняла?

— Так точно, ваше степенство, — улыбаясь во весь рот, прогаркал малюток.

И куда ни взглядывал воевода, в рядах все были то дряхлые старики, то малютки, то полуслепые, то немощные...

Воевода сжал кулаки и сиюнул:

— Защитники! Откуль таких насбирали?

Окаянные... Распустить по домам, пусть коз
ласут!

Воевода сел в дрожки и в злом настроении
поехал в воеводскую канцелярию.

Ума не мог приложить воевода: чутьем чуял
он, что растет страшное, сметет оно весь ста-
рый распорядок.

— Дураки, дураки, кого обмануть думают?
Себя! — кричал в сердцах воевода. — В пугачев-
ском манифесте так и прописано — казнить не-
щадно дворян, бар, купчих да заводчиков, а
они, шиниги, рубят сук, на коем сидят. Себя
обворовывают. Ох, как бы не плакать вам на
пеньковой веревке!

Неспокойство воеводы нарастало. Дошли
слухи, что посулы Пугачева — пожаловать рас-
кольников крестом, усами, бородой; крепост-
ных — освобождением из состояния рабского, —
возымели действие. Открылся бунт в волостях:
Кубеляцкой, Телевской, Кувакайской, Карата-
быльской и в других местах...

Но начальство и в столь гнетущую минуту
не смогло воздержаться от злоупотребства. На-
торело оно в том, набило в казнокрадстве руку.

Воевода горько думал о том (о себе, конечно,
не помышляя), что взяточничество до такой
степени всосалось в кровь и плоть государева
служилого человека, что какое бы то ни было
высокое лицо без взятки ничего не сделает.

Воевода признавался себе со страхом: кругом
производ, казнокрадство взяточничество напи-
рают закон и справедливость. Но с чего пример
брать, ежели известно, что Сенат — и тот не
любит правоты.

В зале общего собрания Сената был постав-
лен барельеф — нагая «Истина». Князь А. А. Вя-

земский, вступая в должность генерал-прокурора Сената, осматривая залу, сказал эзекутору: — Вели, брат, несколько прикрыть. . .

С той поры Истину в Сенате с рвением прикрывали.

Меж тем гроза надвигалась. Казачьи степи озарились пламенем пожарниц ядких крепостей. Пока она шла стороной, но вот-вот жди, захватит и Челябину.

в

Число приверженцев Пугачева, особенно среди башкирского населения, с каждым днем увеличивалось. По сельбицам появились отряды восставших. Башкирцы жгли почтовые дворы, во многих местах до-смерти побили до ста человек разного чиновного и дворянского звания. Неподалеку от Челябинска на рудниках и заводах работные люди бросали работу, вооружались и уходили в пугачевские отряды. Вскоре в Челябине стало известно о неудаче первого столкновения сибирских войск с отрядами Пугачева. Нужно было принимать срочные меры к обороне города.

Челябинские купчишки то и дело тревожили воеводу: и денег сулили, и провианту, требовали оградить животы их от расправы. Именные из них поставили лошадок на откорм, собирали и увязывали домашнюю рухлядь и прочились в дорогу. Но куда? Дороги-то неспокойные стали.

— Как же быть с войском? — тревожился воевода.

Секунд-майор Иван Заворотков насоветовал ему изменить приказ. Воевода послушался. Ин-

валидную команду из присланных старцев, малолеток и болящих распустили по домам: зря только хлеб жрали. Настрого было наказано явиться в Челябинск одному из семи человек здоровых и немалолетних. Остальные шесть человек должны были снабдить седьмого пристойною одеждою, конем с прибором, фуражом и провiantом и давать рубль пятьдесят копеек в месяц жалованья. В казаки приказано было брать только из семейств многорабочих, где было более пяти душ, а из семейств малосильных душ не брать и не назначать в войско, в видах сохранения их хозяйств и домашнего быта.

По дорогам к Челябине потянулись податные людишки в незавидной одежонке, в лаптях; шли они нехотя, вооруженные кто туркой, кто винтовкой иль копьем, а то просто дрекольем.

Воевода, не мешкая, из рекрутов последнего набора склотил роту. Каждодневно их водили на плац-парад и обучали военным артикулам. Челябинские купчишки тож раскошелились: собрали деньгу, наняли людишек и вооружили их ружьишками и пиками.

Градская ратуша, опасаясь нападения пугачевцев, обратилась с воззванием к посадским и цеховым жителям — «О готовности к защите города тех, у кого какие ружья есть». Как тут не взмолишь, когда у купчишек в гостином дворе скопилось товаров тысяч на полтораста рублей. Шутка ли сказать! Да и воеводе не спалось: денежной казны в Челябине от выколотченных податей да царских поборов скопилось 50 000 рублей, да заготовленная для провинции соль, да вино в провiantском магазине.

На деле, однако, вскоре выяснилось, что хоть людишек ратных немного набралось, но и тех

как следует обучить нельзя — нет привычных к ратному делу людей. Притом нехватка в ору-
жии, окончился ружейный порох да и пушеч-
ный был на исходе. А тут ударили злые де-
кабрьские морозы, войско в плохой одежке
ропало.

Меж тем волнения в Исетской провинции
усиливались. Башкирские повстанцы произво-
дили нашествия на редуты и крепости. Не один
раз налетали они на Уйскую крепость и побили
там немало воинского народа, а в одну мороз-
ную ночь в Челябину прискакал из Саткинского
завода купца Лучинина приказчик Моисеев.
У приказчика было выдрано пол рыжей бороды,
скулы подбиты, левый глаз гораздо подпух.
Четыре тысячи заводских рабочих людей вос-
стали, повязали приказчика и смотрителей и
стали поджидать подхода к заводу пугачевского
атамана Кузнецова.

Час от часу становилось не легче. По-
сланный в разведку в село Кудрявинское сер-
жант Кирьянов с командой еле оттуда ноги
унес.

До воеводы дошли слухи, что командующий
войсками на сибирской пограничной линии ге-
нерал Деколонг собирается выступить с вой-
ском против пугачевских ватаг.

Воевода воспрянул духом; не мешкая долго,
он в конце декабря 1773 года обратился к ге-
нералу за помощью.

Одновременно с этим он написал слезное
донесение сибирскому губернатору Денису Ива-
новичу Чичерину с просьбой прислать пороху
и ружей для вооружения надежных жителей,
а ежели можно, то и выслать сильную воин-
скую команду.

Престарелый командующий сибирской пограничной линией генерал Деколоиц на доношения воеводы Веревкина отмалчивался. Сибирский губернатор Чичерин прислал из Тобольска в Челябину просимые порох и ружья. Кроме того, правитель Сибири отдал наказ об отправке в Челябину рекрутской роты тобольского батальона. Роту повел в поход подпоручик Федот Пушкарев; при роте шла полевая артиллерия для доставления ее на оренбургскую оборонительную линию. Мало того, Денис Иванович Чичерин послал на помощь особую команду под начальством секунд-майора Фадеева.

От утешительных вестей воевода повеселел. Завалившись в сани, в теплой меховой дохе, он каждодневно разъезжал по Челябине и лично наводил порядки. Купечество ревностно служило молебны и с нетерпением ждало прихода из Тобольска ратных людей.

Тем временем для подкрепления духа и обороны Челябины воевода пустился на неслыханное своеволие и задержал в Челябине проходившую артиллерийскую полевую команду... Было это весьма кстати: до воеводы дошла весть, что шестьсот повстанцев при двух пушках осадили Белорецкие заводы. За последние дни участились нападения и башкирских отрядов на правительственные и частные заводы. По самое страшное было — рабочий парод повсюду встречал повстанцев с радушием и давал им людей, коней, провиант и оружие.

В эту самую пору, когда в Челябине шли приготовления к встрече неприятеля, тобольский секунд-майор Фадеев с командой подходил к городу. Переночевав в подгородной деревушке,

в пяти верстах от Челябины, утром солдаты в боевом порядке выступили в путь, но за околицей в балке их встретили башкирцы. Секундмайор был стар, опытен в военных оказиях; он не растерялся, быстро напал на врага.

Однако башкирцы, не смущаясь, кинулись врुकонашную. Не успел канонир подскочить к пушчонке, как ему мигом снесли голову, тяжело поранили подпоручика, и прапорщика и двух рядовых. Секундмайор Фадеев с командой оле унес ноги, преследуемый до самой Челябины башкирцами.

Кольцо вокруг Челябины смыкалось.

На другой день носле сего события капраля Опуфриев задержал на посадье неизвестного роду-племени человека с подметным письмом Пугачева. В том прельстительном письме обещаны были народу вольности отеческие, земля, вода и казачество.

Незнаемого человека отвели в застенок и цытали. Сам воевода при том был и допрашивал. Под плетью человек показал, что в Челябину прибыли четыре крестьянина с прельстительными письмами от самого Пугачева и что он заводский человек из Кыштымского завода. А где другие люди с такими письмами он не знает, не ведает, видел он их всего один раз в царском кружале, да и то под пьяным мороком был...

Вечером того же дня воевода ехал мимо собора; там на площади галдели десятка два казаков, и среди них выделялся плечистый бородатый казак Михаил Уржумцев.

У казака глаза горели недобрым огнем, он махал кулаком и кричал:

— Скоро и мы почнем пикуры спущать!

— С кого бы? — заинтересовался воевода и приказал возку остановиться, но казаки быстро заметили его и разбежались...

6

В Челябину прибыла рота тобольского батальона и с нею полевая артиллерия под начальством подпоручика Федора Пушкарева. Челябинские обыватели, взобравшись на градской вал, завидели ее издали. Челябинский бургомистр Боровинский и купечество встретили ее с хлебом-солью. Роту на постой разместили на посадье, а орудия полевой артиллерии установили на площади против воеводского дома. Воевода вызвал к себе подпоручика Пушкарева, держал с ним добрую речь, расспрашивая о драгоценном здоровье Дениса Ивановича Чичерина. Подпоручик был сдержан, ни к чему не притрагивался, покашливал в ладонку и украдкой поглядывал на сидящих за столом дам. В креслах сидели — Анна Алексеевна, пригретая по сиротству воеводой сестра покойного прокурора Благова, да вдова Гуляева. Тут же в горнице вертелся остроносый регистратор воеводской канцелярии Колесников. Подпоручик был громоздок, но приятен в лице. Старенький мундир его расходился в швах, а парик был напудрен мукой, но сам он был добрый вояка с густыми нафабранными усами. Поглядывая на разрумяненную девицу Благову, он лихо закручивал усы и басил:

— Теперь могут быть все покойны... Мы костями ляжем в обереженне дорогих нам особ!

Анна Алексеевна покраснела и подарила подпоручика томным взглядом. Регистратор Колес-

ников заметил эту улыбку и, снедаемый сердечной ревностью, от досады давил на носу угри.

Тем временем, пока шла официальная беседа и сердечная игра взглядами между подпоручиком и дамой, толпа казаков собралась возле расставленных орудий и с любопытством рассматривала их до самого поздна.

Утром 5 января после заутрени казаки вновь собрались к орудиям, опять пытались рассматривать их и толкаться тут, но старый канонир стал отгонять их прочь.

Высокий, с окладистой бородой казак Михаил Уржумцев толкнул плечом канонира и крикнул:

— Сторонись, дай я покажу, как это...

Он проворно бросился к пушке и быстро повернул ее на город. Часовые накинулись на зачинщика, но бывший тут хорунжий Наум Невзоров закричал:

— Казаки, пора действовать!

Казаки мигом окружили орудия и повязали часовых. Солдаты тобольской роты со страху разбежались кто куда.

Взбунтовавшиеся повернули пушки на город, приставили к ним своих часовых с зажженными фитилями, грозя в щепы разнести Челябину. Толпа устремилась к воеводскому дому. Два воеводских холопа выскочили из сеней со старыми мушкетами и дали залп, но казаки стащили их за полы с крыльца и обезоружили.

Воевода выглянул в окно и ахнул. От страха он упал на четвереньки и, волоча по полу свое отвисшее брюхо, пополз под кровать. Ворвавшаяся в горницы ватага извлекла его оттуда за ноги. Воевода сопел, брыкался, казак Мишка Уржумцев в сердцах оторвал воеводскую

ингалину, а его самого извлек-таки. Воеводе связали руки и ноги, били до полусмерти; разодрали на нем платье и полунагого потащили в казачью войсковую избу. Воевода упирался, хватался за ноги, но казаки все били прикладами и орал:

— Иди, чорт, мы нишо с тобой поговорим!

Жеманная Анна Алексеевна и ее верный личарда регистратор Колесников в эту пору сидели в горнице и любезничали. Девушка распялила кавалеру руки и, надев на них моток ниток, перематывала их. Кавалер от счастья вздыхал, забыв про ревность к подпоручику.

Но тут дверь в горницу с грохотом слетела с петель, и ворвалась в горницу буйная ватага.

Кавалера немедля разделли донага и, связав руки и ноги, стали бить. После этого регистратора и девушку отвели к войсковой избе...

Подпоручик Пушкарев, услышав шум и крики у воеводской канцелярии, быстро сообразил, в чем дело. Он бросился на псадь. Угрозой он собрал полета штыков и внезапно окружил оставленных у пунек часовых-повстапцев. Овладев орудиями, подпоручик быстро навел их на народ и, выстроив команду, со штыками наперевес, пошел к войсковой избе. Окружавшая войсковую избу толпа отбивалась поленьями, камнями, но вымушгрованные тобольские солдаты, оцетинившись штыками, не дрогнули, грозно, нога в ногу, шли на народ...

Толпа заволновалась и стала разбегаться. Казак Михаил Уржумцев, размахивая дрекольем, кричал:

— Куда! Куда, остуды, да мы их!..

Но его из-за крика не слышали. Только хорунжий Невзоров с гореткой вооруженных

казаков отчаянно отбивался, но тут к Пушкареву подоспели артиллерийские офицеры и купецкие наемники, и хорунжий Невзоров с горсткой людей, отстреливаясь, отступил.

Воеводу немедленно освободили. Развязали руки и ноги. Освобожденная девица Благово, завидев подпоручика Пушкарева, вскрикнула и бросилась ему на шею:

— Ах, вы наш спаситель!

Господа офицеры, рекруты, купецкая дружина и даже канцелярские служители весь день ловили по городу и на посаде мятежников. Задержали шестьдесят три бунтовщика. Казак Михаил Уржумцев, отрезанный от своих, убегал через площадь к воеводскому дому. Он забежал во двор, размахнулся, метил прыгнуть через дубовый тын, но, пораненный и очень ослабевший, не смог. Тогда, не мешкая, он бросился в раскрытые ворота сеновала и стал зарываться в сено. Но оттуда с визгом и криками выбралась вдова Гуляева, которая доселе там укрывалась.

— Караул!.. Убивают!.. — заорала благим матом вдова.

— Дур-ра, замолкни! — пригрозил казак, но тут на двор прибежали рекруты и офицеры и связали Михаилу Уржумцеву руки.

Вечером того же дня по указу воеводы казак Михаила Уржумцева привели в воеводскую канцелярию и под жесточайшим битьем плетью подвергли строгому допросу.

Отхаркиваясь кровью, казак на вопросы огрызался. Держал он себя дерзко и самонадеянно.

Казак показал, что он, как и все казаки, ненавидит воеводу и прочих душителей народа,

что он ходил с челобитьем к батюшке-императору Петру III, что от него в Челябину с указом выслано четыре человека... Где эти люди, он, Уржумцев, не знает, а хоть бы и знал, все равно не сказал бы.

Казака снова били, стремясь переломить его характер, но в нем словно бес сидел. Избитый до бесчувствия и отлитый студеной водой, Уржумцев поднимал голову и стоял на своем:

— Все равно хорунжий Паумка Невзоров с казаками придет. Воеводу и прочих всех дворян и купцов перегубит и Челябиной завладеет...

Как ни мучили казака, но он стоял на своем.

После долгих, нестерпимых попыток через семнадцать часов храбрый казак Михаил Уржумцев умер.

6

На другой день в Челябину из слободы Кундравинской прискакал кунецкий сын Ануфриев и наговорил больших страхов. От него знали, что пугачевские войска заняли крепости Чебаркульскую и Верхнеуральскую.

Кунецкий сын заготовлял овес для торговляшки, когда пугачевцы подошли к слободе Кундравинской. Население, разодевшись во все праздничное, толпой вышло им навстречу. Слободской пои наказал ударить в колокола и собирал причт поднимать иконы и хоругви для встречи пугачевского полковника Грязнова. Поручик Максимов, начальник казаков, составивших сторожевую команду, видя такое посещение народа и быстрый переход своего воинства на сторону восставших, забежал вперед и, размахивая сабелькой, угрожал:

— Назад! Назад! Побойтесь вы бога, кого вы идете встречать? Вора!

Казакки оттолкнули офицера в сторону:

— Посунься, сами знаем!

Офицер набросился на дерзкого.

— Вот ты как! — вскинул казак и, схватив офицера за руки, вырвал саблю и, как лучинку, ее переломал.

— Умру за матушку-царицу... Бунтовщики, предатели!

Толпа распалась от заносчивости поручика, и минуту спустя он бездыханно болтался на жолобе под крышей.

Через полчаса из-за горы показались войска пугачевского полковника. Впереди ехал сам Грязнов — среднего роста, кряжистый, русобородый. На нем — расстегнутая крытая шуба, под ней бешмет голевой, обут в сапоги, на голове шапка-чебан, опушенная лисцей. За ним шли четыреста бойцов с семью чугунными пушками. За пушками шли и ехали в беспорядке башкирцы.

Поравнявшись с толпой слобожан, пугачевский полковник, подражая самому Пугачеву, крикнул:

— Здорово, детушки!

Толпа дрогнула и закричала «ура».

По занятии Кундравинской повстанцы разбили царев кабак, полковник забрал в свою войсковую казну деньги в конторе и пожег все конторские бумаги. Вечером кундравинцы присягали императору Петру III.

Многие из насельников слободы надели через правое плечо по куску белого полотна, что говорило о присоединении их к пугачевцам...

Ночью, пользуясь тьмой, спрятавшийся от расправы под стог сена кунецкий сынок Ануф-

риев вылез и, побросав заготовленные возы с кулями торгового овса, сбежал в Челябину...

В полдень воеводской канцелярии в Челябине стало известно, что и заводские крестьяне Демидова — Кыштымского и Кислинского заводов — перешли на сторону пугачевских войск.

Воевода вызвал подпоручика Пушкарева и поручил ему привести город в осадное положение. Однако собранные в вольное казачество со всех дистриктов крестьяне и казаки почти все разбежались. Пушкарев собрал на плац-парад купецкую дружину, роту рекрут и роту тобольского батальона, — в ней насчитывалось триста обученных рекрут. Осмотрев войско, подпоручик распределил его по участкам обороны, расставил вокруг города пикеты и по доступным для мятежников местам устроил воинские засады.

7

Убежавший после неудачного восстания хорунжий Наум Невзоров объехал пригородные селения и, поднимая казаков, собрал отряд в сто шестьдесят бойцов. В ночь на 7 января он с этим отрядом подошел к самой Челябине. Отличаясь необыкновенной храбростью, он лично подъезжал к самим пикетам, расставленным Пушкаревым. Сажень за десять он перекликался с караульными:

— Бросай ружья, пускай в город, идет государева сила в сорок тысяч!

Караульные откликнулись:

— Уходи! Мы верны царице-матушке...

— За дворянство, за купцов вы кровь льете...

— Уходи, стрелять будем...

Хорунжий с полчаса обещал всякие посулы и все ближе и ближе пододвигал свой отряд. Заметив это, бдительный Пушкарев выставил на валу два орудия и спешно подвел тобольскую роту. Видя недостаток в своих силах, хорунжий Невзоров повернул свой отряд и в ту же ночь отправился в Кундравинскую.

Пугачевский полковник Грязнов принял хорунжего Невзорова радушно и велел накормить отряд. Дав небольшой отдых людям, он со своими войсками и с отрядом Невзорова под утро двинулся к Челябине.

Утром 8 января пикеты, охраняющие подходы к городу, обнаружили, что Челябина обложена пугачевцами.

Штаб атамана Грязнова поместился в двух верстах от Челябины, в деревне Маткиной.

В тот же день в воеводскую канцелярию явился крестьянин Воскресенского завода Микеров и объявил, что прислан к товарищу исетского воеводы Василию Ивановичу Свербееву от самого полковника Грязнова.

Свербеев тотчас принял посланца. Микеров вручил ему воззвание атамана Грязнова. Однако товарищ воеводы не удовлетворился этим, велел немедля в своем присутствии обыскать гонца. Мужика разоблачили, сняли с него нумы¹ и в них нашли грамоту ко всем «жителям и всякого звания людям».

Свербеев прочел обе бумаги, поморщился и велел мужика отправить в подвал.

Под вечер доносчики довели Свербееву, что, хотя грязновского человека и упрятали, однако посадским людям и прочим известно, что наши-

¹ Нумы — валянки.

сано в грамоте пугачевского полковника, и народ ходит сильно не в духе и чего-то выжидает.

Письмо атамана Грязнова к «Находящимся в городе Челябинске жителям и всякого звания людям» гласило:¹

«...Говорю я вам, всему свету известно, сколько во изнурение приведена Россия. От кого же? Вам самим то небезызвестно. Дворянство обладает крестьянами, но хоть в законе божеском написано, чтобы они крестьян так же содержали, как и детей, но они не только за работника, но хуже почитали собак своих, с которыми гонялись за зайцами. Компанияшки завели множество заводов и так крестьян работой утрудили, что в сылках того никогда не бывало, да и нет. А напротив того, с женами и детьми малолетними не было ли ко господу слез? И через то услыша, яко израильтян от ига работ избавляет, дворянство премногощедрого отца отчества великого государя Петра Федоровича за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянах указать, чтобы у дворян их не было во владении, изгнало весьма несправедливым поведением. И так через то принужденным нашелся одиннадцать лет отец наш странствовать, а мы, бедные люди, оставались сиротами, а ныне отца нашего, хотя мы и старание прилагаем возвести, но дворянство пуще вымысел сделало, назвав так дерзко бродягою, донским казаком Пугачевым. Но если бы мы были прещедрого царя отчества великого государя Петра Федоровича не самовидцы, то б и мы, верно, не поняли, через то, что вас уверяем не сомневаться и верить, — действительно и верно государь наш истинно; чего ради сие последнее и вам увещевание пишу: придите в чувство и власти его императорского величества покори-тесь. И если вы в склонность прийти не пожелаете, то уже говорю нескротно: вверенные мне

¹ Ниже помещаем в сокращении подлинный текст обращения Грязнова к челябинцам.

от его императорского величества войска на вас подвинуть вкоре имею, и тогда уже вам самим, рассудите, можно ли ожидать прощения. Мой же совет: для чего напрасно умирать и претерпевать разорение всем вам, гражданам? Вы, надеюсь, подумаете, что Челябинск, славный по России город и каменную имеет стену и строение, — отстоится. Не думайте, предел от бога положен, его же перейти никто не может. Я вам наверно говорю, что не устоять. Пожалуйста, не пролейте напрасно свою кровь. Затем остаюсь, января 8 дня 1774 года, посланный от армии его императорского величества главной армии полковник Грязнов».

8

9 января воевода проснулся от пальбы из пушек. Атаман Грязнов, не получив от Свербеева ответа на свое послание, открыл по Челябину огонь из пяти пушек. По пригоркам разъезжали повстанцы, цепочка неших башкир спускалась в долину. Из Челябины загрели восемнадцать орудий, стремясь отогнать противника.

Четвертый день лежал избитый воевода в постели. Были спина, ноги, лик воеводы опух, под глазами синяки. Сколь печальный вид имел воевода! Однако дух его не угасал, он призвал остроносого регистратора Колесникова и наказал заготовить пакет с конией манифеста государыни от 29 ноября 1773 года. Хоть регистратор в тот знаменательный день был бит немало, — намордовали и в бока, и в шею, досталось и зеркалу, — но по молодости своей он быстро оправился. Колесников быстро спроворил копниста, заготовил конию и дорожный пакет с печатями.

Воевода вызвал к себе Перфильку.

— Ну, холоп,— строго, но вместе с тем милостиво обратился всевода.— пришла пора, сослужи царице-государыне и мне службу.

От пушечной пальбы дрожала воеводская изба. Перфилька при каждом буханьи крестилась. Воевода не спускал глаз с дворового человека:

— Оседлают тебе доброго коня, отвезешь ты пакет тому злодею, что из пушек валит...

— Сударь ты мой, батюшка,— бухнулся в ноги неожиданно-негаданно Перфилька,— мне эстоль годков перемахнуло, и конь добрый, почитай, разнесет меня, и очи мои слабые — стеряю пакет... Батюшка мой, ежели послать кого помоложе...

На лбу воеводы надулись жилы. Он спустил ноги с койки и прикрикнул строго:

— Наказываю ехать тебе. Никому боле. Слышишь ты, сын!

Воевода снова растянулся на постели, отвернулся к стене и не пожелал больше препираться с холопом.

Обрядили Перфильку в овчинный тулуп, напялили на ноги добрые пимы и усадили на матерую казачью кобылицу. Солдаты вывели всадника за крепостные ворота, капрал хлопнул кобылицу по крупу, и она понесла.

Кругом грохотали пушки.

«Осподи, осподи, вот когда конец. Не чаял, не гадал»,— испуганно думал старик.

Но ядра миновали его. Только что он спустился в овраг, его окружили башкирцы. Они схватили коня под узды.

— Бачка, бачка...

Старик соскочил и стал обнимать их, лез целоваться. «Слава те, осподи, не убизи. Жив, целехонец».

— Эй ты! — крикнул Перфилька. — Веди к вашему енералу...

Старика привели в деревню Маткину и доложили атаману, что из Челябины прибыл переговорщик.

Атаман принял Перфильку. Сидел он в горнице за столом, в красном углу, острижен по-казацки, борода русая, глаза голубые, веселые. Смеется:

— Ну, как, старче, добрался? Не расстрялся?.. Может чарку выиьешь?

Совсем растерялся старик, однако с дороги хватить нехлохо.

— Премного благодарен, — поклонился он атаману.

Тот мигнул хозяйке; она проворно полезла в стряпной ставец, достала оттуда штоф зелья и налила чарку. Огонь побежал по стариковским жилам. «Вот так енерал, сразу видать доброго человека», — подумал Перфилька и попросил ласково:

— А нельзя ли, хозяйюшка, ишшо?

Хозяйка поглядела на атамана, тот кивнул головой.

Баба увела старика в другую горницу, поставила на стол баранину, жамки, нитоф. У Перфильки глаза заблестели: «Пей, старый пес, веселись!»

Атаман, между тем, вскрыл пакет, неторопливо прочел манифест царицы и густо покраснел:

— Вот как!

Дело шло к вечеру. Пушки замолчали, пугачевцы отступили на почлег к деревне Маткиной. Атаман все еще сидел в той самой горнице и диктовал писарю ответ челябинскому воеводе. Полковник был зол, быстр на слова,

и Русское перо в руках писаря трещало от спешки.

Атаман продиктовал ответ, отозвавшись с немалою хулою о манифесте царицы. Он предлагал воеводе сдаться и для того будет ждать два часа нарочного из Челябины из знатных персон, обещая его отпустить обратно.

Ответ был готов, вызвали Перфильку. Сытно поевший, захмелевший, он, притоптывая, подошел к столу и, заглядывая атаману в глаза, умильно попросил:

— Ваше генеральское степенство, нельзя ли мне, холопу, при ваших солдатах остаться?

— Что, баба по душе пришлась? — улыбнулся атаман.

— Все: и баба, и то, что холопьев людьми тут почитают. Дозвольте...

— Нет, старче, отвези раньше депешу воеводе...

Усадили Перфильку опять на кобылу и погнали к Челябине. Не доезжая крепостных ворот, из-за оснеженного омета выскочили люди в бараньих шапках и стащили Перфильку с коня:

— Хватит, филин, доехал, а нам конь в самый раз...

— Злоден, ворюги! — плевался Перфилька. — Ну и пес с вами, коли так, я все равно и пешком к генералу вернусь. Ась?..

Атаман не получил ответа от воеводы.

9 января к отрядам Грязнова подошли восставшие работные люди из Кыштымского и Кыслинского заводов. Еще ранее восстали

тобольские казаки и, убив майора Чубарова, ночью с песнями пришли в лагерь Грязнова.

10 января атаман с пятью тысячами повстанцев при восьми орудиях повел решительное нападение на Челябину. Пять часов длилась пальба из пушек. Наскоро сколоченные отряды не привыкли к маневрированию. Грязнов на мохнатой башкирской лошади появлялся в разных местах, подбадривая воинство криками, но полевая артиллерия из Челябины без умолку слала ядра, разгоняя нападающих. Однако за все время у наступающих были убиты только две лошади, народ же оставался цел и невредим.

Хорунжий Невзоров несколько раз добирался до стен Челябины.

— Сдавайтесь! — кричал он. — А то поздно будет. Царь-батюшка шлет помощь.

Его отгоняли ружейным огнем. Дважды раненый неустрашимый хорунжий продолжал подъезжать под стены и сманивать солдат.

Рекруты, засевшие у заплота, восхищались хорунжим:

— Храбер, бес!

— Видать, за правду на рожон лезет!

— А то с чего бы?

Поручик Пушкарев заметил, что рекруты крыли свинцом не по хорунжому, а в небо.

«Добрый солдат, эх, жаль, куда подался!» — с досадой подумал он о хорунжем, но тут, вспомнив присягу, закричал:

— Бей изменника!

Коллежский ассессор Свербеев вертелся тут же у градских ворот. Он подошел к подпоручику Пушкареву и, потирая руки, захихикал:

— Хи-хи. . . Морозно! Руки, небось, к мушкету липнут, а-а?

Подпоручик молчал, поглядывая на оснеженное поле и на серые перебегавшие фигурки людей. Свербеев подался влотно к нему и, тяжело дыша, зашентал на ухо:

— Ежели обманом замануть соколика, ась?

— Я человек военный, подлюстью не действую,— сухо ответил подпоручик, круго повернулся и пошел вдоль занюта.

Свербеев развел руками и покачал головой:

— Те-те... Подумаешь, какие нежности, а ежели вас, господин подпоручик, вздернут на пеньковую веревочку. Ась?..

Он подошел к капралу и уговорил его отворить крестные ворота.

Когда хорунжий Невзоров вновь подъехал и стал убеждать часовых пропустить, ворота вдруг заскрипели и распахнулись.

Из-за тына Свербеев крикнул:

— Милости просим!

— За мной! — крикнул хорунжий. — Айда-те!

И проскочил в крепость...

Но в то же мгновение ворота за конниками быстро захлопнулись. Часовые бросились к хорунжему, стащили его с коня и связали...

За дубовыми воротами шла резня — пугачевские конники стремились отбить своего товарища. Из-за тына загремела пальба, но все было напрасно: конников перекололи, а Невзорова потащили в острог.

Свербеев долго допрашивал хорунжего, потом его заковали в конские железа и водили по городу.

Шел он, опустив голову и потупив взор в землю. К конским железам была привязана веревка, и за ту веревку профос Федотка тащил его по улице.

Посадские люди молча уступали дорогу. Только купеческие сыски да приказчики улюлюкали и пускали вслед пленному мерзлый конский помет. Мимо шла купеческая дружина, наемник подскочил к скованному хорунжему и начал его бить. Кругом сгрудились людишки, и все молча глядели. . .

В эту минуту какой-то старик растолкал народ и кинулся к дружиннику. В руках у старика был дорожный подонок, одет он был в простую сермяжку.

— Ты что исом кидаешься! — закричал Перфилька. — Связанного всякий бить смеет, а ты бы. . .

Дружинник бросил хорунжего, размахнулся и ударил старика в грудь. Перфилька взмахнул руками и полетел в снежный сугроб.

К вечеру пальба опять смолкла. Пугачевцы отошли от Челябины. Хорунжего Невзорова доставили в острог, и Свербеев наказал учинить над ним строгий розыск. Под жестоким битьем плетью хорунжий скрипел зубами, разум его мутнел, но он ни единым словом не обмолвился.

Через пятнадцать часов после пытки хорунжий Наум Невзоров скончался. . .

Ночью 11 января атаману Грязнову донесли, что на Челябину с юга, со степей, двигается отряд генерала Деколонга. К утру пугачевские войска отошли к деревне Шерстневой, где командиры устроили совещание. Серьезный, вдумчивый атаман, очень осторожный, решил до выяснения сил генерала Деколонга отступить к Чебаркульской крепости.

К Челябине были высланы башкирские конские сотни пересечь все дороги в город и узнать, сколько у генерала Деколонга воинской силы.

13 января генерал Деколонг с двумя легкими полевыми командами¹ подошел к Челябине. Версты за три от крепости его встретили небольшие конные ватажки башкирцев. Они быстро передвигались с места на место и недружно отстреливались.

Хотя ватажки и не представляли большой опасности, но старый генерал понял, что не во-время попал к Челябине.

«Эх, угораздило Дениса Ивановича не вовремя прислать уведомление», — с досадой думал генерал.

Сибирский губернатор Чичерин уведомил генерала, что в Челябину придут орудия, предназначенные для Оренбургской линии. Деколонг, не подозревая, что в Челябине осадное положение, подошел с десятою и одиннадцатою легкими полевыми командами, с тем чтобы присоединить к себе орудия и учинить поиск над мятежниками.

Но учинять поиска не нужно было, сами пугачевцы были палицо и даже дерзили обстреливать войско генерала.

Скрепя сердце ехал генерал в возке, окруженный казачьей сотней. Под полозьями скрипел снег, где-то за холмом совсем близко шла нестройная стрельба.

За воротами крепости генерала Деколонга встретил воевода Веревкин. Старики облобызались.

— Сам господь-бог послал Челябине всевыш-

¹ Полевая команда в екатерининские времена состояла из пятисот человек пехоты, конницы и артиллерийских служителей.

нее спасение, — ткнул перстом в небо воевода и прослезился.

В тот же день наказал он для сдороженного полководца истопить баньку. Банька, хоть и воеводская, хоть и сложена из кряжистого соснового леса, однако была тесная, прокопченная — черная. В правом углу потрескивала раскаленная каменка.

Его превосходительство генерала Деколонга разоблачили, палили в ушаты теплой воды. Под был горяч, с каменки сочился приятный жарок и покалывал генерала в спину. На чистой скамье разложены припасенные веники; они хорошо пахли березовым духом. Приятное тепло разливалось по телу генерала, он неторопливо охлаждал жарок прохладной водой.

Посреди бани стоял голый брюхатый воевода; пузо и грудь воеводы по-песинному поросли волосом. Хлопая себя по бабьим ляжкам, воевода закатил глаза и кричал от удовольствия:

— Ох-х, жарку бы!..

Гарнизонный солдат зачерпнул полное ведро студеной воды и, соблюдая выправку, с шумом выплеснул ее на каменку. Раскаленная каменка охнула, затрепетала, от нее шумно поднялся горячий пар. Ударившись о потолок, он круто спустился к скамьям и жаркой ланой хватил старые кости генерала. Генерал закричал:

— Знать!

Его старая спина зачесалась и запросила веника.

— А ну-ка, Перфилька, — выдохнул воевода, — послужи ты во славу русского воинства.

Перфилька, приличествующий перед генералом и потому оставшийся в подпитанниках, вы-

нул распаренный в горячем квасу веник, взгромоздился на полку и поклонился:

— Просим, ваша светлость, откушать...

Генерала растянули на полках, гарнизонный солдат поддавал на каменку, Перфилька надел на голову треух и усердно хлестал веником генерала. Истомленный, обессиленный генерал сладко стонал:

— Ах-х... хорошо...

Воевода присел на пол и опрокидывал па себя, шайку за шайкой, холодную воду. Жар донимал его; буйно колотилось сердце.

После бани генерала напоили романеей. Его превосходительство сожрал две сотни пельменей, рыгал от приятности и подобрел.

Тут воевода и приступил к нему с делом.

— Ваше превосходительство, премного страхов натерпелись жители города нашего от поганых злодеев...

— М-м-м... — чавкал генерал и уставился оловянными, как солдатские пуговики, глазами в юлившего воеводу. Чавканье, хоть и не совсем деликатное, но для походного человека простительное, должно было означать: «Слушаю вас, почтенный воевода. Весь внимание».

Воевода продолжал, потирая руки:

— Я так и знал, ваше превосходительство. Разрешите для страха и зренья здешнего народу, который злого и ложного его, Невзорова, разглашения слушался, труп сего злодея проволочить по улицам. И разрешите всем схваченным злодеям учинить поиск.

Рука его превосходительства потянулась к романее. Девясь пельменем, генерал прохрипел:

— Разреш-ша-ю-ю...

После знатной бани и ужина с возлиянием

его превосходительство завалился в перину и, забыв все неприятности похода, вздохнул сладко:

— Недурственно! Сколь преславен град Челябинба!

11

Проснулся генерал неожиданно от барабанного боя и криков. Генерал скликал Перфильку:

— Что сие значит?

Перфилька, хоть и не военный, по вытянулся в струнку и рапортовал:

— Вашего превосходительства приказ выполнять изволют...

Генерал оделся в лисью шубу и вышел на крыльцо. Посреди улицы тащилась хромая кляча, запряженная в дровни. Они были покрыты грязной рогожей, на которой лежал искалеченный труп человека. За дровнями шел гарнизонный барабанщик и барабанил часто и зазывно. Хромую клячу вел под уздцы профос Федотка и выкрикивал гнусоватым голосом:

— Выходи, крещеные, выходи!

У ворот обывательских изб жались бабы и ребята. За санями шла толпа. Конные то и дело подгоняли от ворот народ к дровням.

С избитым, в кровоподтеках, лицом кверху лежал мертвый хорунжий Наум Невзоров.

И каждый, кого подталкивали к дровням, должен был взять кнут и бить им пещадно труп.

Генералу тоже поохотилось потешить руку. Он засучил рукава, сошел с воеводского крыльца и подбежал к дровням. Он занес руку с кнутом.

В эту самую пору кто-то голосисто крикнул:

— Палач!..

Генерал побагровел, выпрямился:

— Кто смел?

Но толпа, понуро опустив головы, шла за дровнями. И на кого генерал ни смотрел своими рачьими глазами, никто не отводил своих очей, а дерзко и смело встречал его взор. Пенависть и злобу видел генерал в глазах, окружавших сани. Генерал содрогнулся, спустил рукава, запахнул лисью шубу и трусливо заторопился к воеводской избе.

Для устрашения народа труп замученного в застенке хорунжего Наума Невзорова долго возили по Челябине.

Профос Федотка охрип от зазыванья, но народ понемногу расходился.

К вечеру изуродованный труп хорунжего вывезли за городской вал и кинули на пазьмы.¹

Для учинения строгих поисков наряжена была следственная комиссия. В нее вошли: товарищ исетского воеводы Свербеев, челябинский бургомистр Боровинский, капитан десятой легкой полевой команды фон Сизинг и одиннадцатой легкой полевой команды поручик Сумароков.

Комиссия сия заседала в присутственной горнице Исетской провинциальной канцелярии. На столе, крытом зеленым сукном, стояло петровское зеркало; судья строго и величественно взирал на судимых. Подле каждого виновника стояло по два рядовых с саблями наголо. Главных зачинщиков было тринадцать человек.

¹ Пазьма — павозная свалка.

Первым допрашивали государственного крестьянина Чумазской слободы Лаптева. Заросший черными волосами, огромный и лохматый, как медведь, он переминался с ноги на ногу и, уставившись в капитана фон Сизинга, говорил:

— Мне што, коль осерчаю, кому хошь ребра сломаю. А серчать есть пошто.

— Пошто же ты, сердечный, осерчал? — лукаво спрашивал председательствующий Свербеев.

— Забижают сильно. Ин сколько захребетников на мужицкой шее ездит.

— Так-так, — потирал руки обрюзглый, с мочальной бородкой. Свербеев. — А кто же сии захребетники?

— Так про то в манифестах царя-батюшки прописано!

— Хватит! — хлопнул ладонью бургомистр Боровинский. Он долго приглядывался к мужику и гадал: «Дурака валяет супостат или озорен больно?» — Хватит! — выдохнул он. — Дать ему глаголь!

К столу поодиночке подходили двенадцать челябинских казаков, повинных в восстании. Все они покаялись в том, что подлинно они пошумели в толпе, но они люди темные, и их обманули.

Определением Исетской провинциальной канцелярии, вместо ожидаемой смертной казни, положено было жестокое наказание кнутом, с рванием ноздрей и поставлением на лбу и щеках воровского клейма.

23 января 1774 года определение было утверждено генералом Деколонгом, и пугачевских казаков повели на градскую площадь. Палач Артамон Суземкин всенародно бил их

плетями, вырвал ноздри и наложил воровские клейма: на лбу — «в», на правой щеке — «о», а на левой — «р». Согласно указу Правительствующего сената от 30 ноября 1773 года все ошельмованные были назначены в ссылку на окраину российскую, в город Азов.

Что касается остальных подсудимых, то они были оправданы, приведены к присяге в верности ее императорскому величеству и отпущены на поруки.

12

На третий день по вступлении корпуса в Челябину Деклонг получил с нарочным просьбу о помощи от начальника екатеринбургских заводов полковника Василия Бибикова. Курьер, прапорщик Губкин, одет был в рваньё — в мужицкий армяк и в залчий треух. По дорогам всюду рыскали башкирские ватажки и припкнувшие к пугачевским атаманам заводские люди. Людям воинского звания, захваченным на дорогах, они наказывали принять присягу на верность царю Петру III, а по отказе от нее отказчиков вешали. Простому люду никаких препятствий не оказывалось ни в проходе, ни в проезде, — поэтому прапорщик имел мужицкую одежку и прикидывался простаком, но однажды он чуть не попался. В деревне Назимовой баба усадила его за стол, и когда он хлебал щи, она, взглянув ненароком на его руки, поморщилась:

— Накак ты из господ, милый? Кабы знала да ведала...

Прапорщик положил ложку и упрятал руки. Стал врать:

— С острога катеринбургского бежал, бабка. Оттого они не работающие...

Бабка головой покачала, как бы и соглашаясь с выдумкой прапорщика, но он-таки заметил в глазах старушки нехорошее и потому, хоть и вечер насупился, ударился в дорогу.

В дороге прапорщик прослышал, что заводские крестьяне Саткинского завода предали Пугачеву. Заводское население и работные люди обратились к атаману восставших башкир Салавату Юлаю с покорнейшей просьбой прийти на завод. Вместо Юлая на Саткинский завод явился с отрядом атаман Иван Кузнецов. Толпа рабочих людей повела его к дому заводчика. Заводчик еще загодя пронюхал неладное и, переодевшись с семьей в крестьянскую одежишку, скрылся в горах. По указу атамана Кузнецова из дома заводчика были забраны платье, посуда, рогатый скот и выездные кони. В заводской конторе в железных скринях обнаружено десять тысяч рублей серебром.

Караульная дружина завода сама передалась Пугачеву. Атаман Кузнецов взял тут двенадцать знатных пушек доброго литья, двести пятьдесят годных ружей и пять пудов пороху. Часть добра и воинских припасов атаман, зная, переслал самому Пугачеву.

Каково было все это слушать старому генералу. Однако он и виду не подал, что очень встревожен теми вестями. Он приказал гарнизонному цырюльнику немедленно явиться и услужить господину прапорщику. После того велено было господину офицеру обмыться, надеть мундир, парик и прочее, что приличествует офицерскому чину, и ждать распоряжений.

Два дня раздумывал Деколонг, что делать: то ли идти самому в помощь полковнику Бибикову, то ли выслать часть воинства? Челябинское кунечество устроило пир, на котором уговорили генерала не покидать Челябины. Перед тем из-под Чебаркуля приехали лазутчики и доложили, что отряды атамана Грязнова выросли, окрепли и прошли знатную муштру. При том к нему неизвестно откуда прибыли пушки с опытными в стрельбе канонирами, и не сегодня — завтра атаман опять подступит к Челябине.

Старый вояка сибирской пограничной линии генерал Деколонг прикидывал в уме, что лучше: отсидеться за стенами или быть пойманному в дороге, и кто знает...

15 января генерал отдал приказ следовавшим с сибирских линий майору Желобову с двенадцатой легкой полевой командой и майору Фишеру с двумя гарнизонными ротами повернуть к Екатеринбург и идти на помощь полковнику Бибикову.

Сам Деколонг остался в Челябине. Упиваясь покоем, генерал играл с болящим воеводой в картишки. При этом к генералу притекали деньжонки. Он от удовольствия кричал.

— Представьте, мне всегда везет в карты.

— Так уж господь-богом заведено, ваше превосходительство, — шурил сытые глаза воевода, — кому в карты везет, тот в любви несчастлив.

— Что верно, то верно, — сокрушенно согласился генерал.

Его превосходительство попробовал приволокнуться за благородной девицей Благовой, — та хоть обреталась в сиротской доле, но была хо-

лодна, как рыба. А меж тем перед каким-то подпоручиком, к тому ж нескладным и красным, как вареный рак, каким являлся известный нам Федор Пушкарев, девица жеманилась, даже ставила мушку у краешек губ, чтоб тем самым иметь обольстительную улыбку. И всегда в присутствии подпоручика глаза ее блестели и играли, как хрусталь в зажженных канделябрах. Ах, бедный регистратор Колесников, сколь несчастен он был, видя столь близкую отставку свою без пенсии и мундира!

Одна вдова Гуляева недовольна была таким оборотом дела. Она вразумляла легкомысленную девицу:

— Подумать только, на кого пялишь свои глаза! Да сей подпоручик, кроме оловянных пуговиц да парика из паршивой пеньки, ничего за душой не имеет. Его превосходительство генерал, тот... К тому же, сказывают, он недавно овдовел.

— Ах, тетя! — топнула ногой вспылчивая девица. — Ничего вы не понимаете в сих утехах. Лучше цвести за крепким юнкером, чем киснуть за превосходительной песочницей.

Той порой бургомистр Боровниский наедине кучился воеводе:

— Ты, Алексей Петрович, всем хорош, но купечество наше в сию пору не совсем довольно тобой. Этак и денег не напастись. Мы просили тебя по маленькой генералу отдавать, а ты каждый день проигрываешь.

Воевода недовольно двинул плечом:

— Аль уж и тут не верите мне? Нельзя же по маленькой, на то он и генерал, чтобы густо чапать!

Бургомистр ладошкой похлопал воеводу:

— Что верно, то верно, все ж таки просим помене.

Сам бургомистр, между прочим, в ту секунду подумал: «Ворюга и на проигрыше его превосходительству купецкую деньги зажиливает».

Верхнелицкий комендант полковник Ступишин донес генералу Деколонгу, что пугачевцы заняли Белорецкий завод и, имея тридцать пушек разного калибра, намереваются нанасть на Верхнелицкую крепость.

За этой вестью пришла новая. Секунд-майор Демидов, исправляющий должность коменданта Кизильской крепости, доносил, что из состава кизильского батальона десять солдат-конфедератов, при одном унтер-офицере, с ружьями, патронами и полной амуницией, бежали к пугачевцам.

Генерал все дни ходил сумрачный, два дня пропустил карты у воеводы. Все время его превосходительство проводил на плац-параде, где наблюдал за обучением рекрут, и у крепостных стен, где по его указу делались фортификационные укрепления.

Вечером его превосходительство при свете салных свеч диктовал регистратору Колесникову увещевательные письма к бунтовавшим башкирцам.

Дабы забыть коварную измену своей прельстительницы, писарь налегал на работу. В горнице только и слышался скрип гусиного пера да хрип страдающего тяжелой одышкой генерала, вышагивающего по горнице из угла в угол.

Генерал пригласил к себе на прием всеми уважаемого муллу Абдул Гафер Мансурова. Обещая всякие посулы, генерал уговорил муллу

объехать близлежащие к Челябине волости и склонять башкирцев к спокойствию. Мулла Абдул Гафер Мансуров, и сам ведущий свой род от богатеев, боялся, как бы расходившиеся башкирские людишки от веры не отшатнулись, объезжая, ревностно уговаривал башкирцев принадлежать к столам государыни, умиротвориться и откинуться от пугачевских атаманов.

Напрасно мулла Абдул Гафер Мансуров терял дар своих речей, все его соплеменники оказались ревностными приверженцами атамана Грязнова и каждый день поставляли ему все новых и новых людей, коней и довольствие.

Так же получилось и с ахунем Абдулла Мурза Муслюмаевым, которого генерал Деколонг послал для увещевания мещеряков. Ахун Мурза Муслюмаев доносил генералу, что он не может вести и речи о том, ибо его соплеменники и слушать его не желают, а «господин полковник» Грязнов дважды писал ему, ахуну Муслюмаеву, обратиться подобру-поздорову, а то еще лучше прийти самому и своих людишек привести к нему, атаману Грязнову, в Чебаркуль.

Так и тянулось времечко до февраля. Генерал Деколонг писал да отписывался, в свободную минуту перекидывался с воеводой в картишки и неведомо чего выжидал.

Чебаркульская крепость была занята пугачевскими отрядами 5 января 1774 года. Духовенство и население крепости встретили пугачевцев крестным выходом, с поднесением хлеба и соли. 6 января в крепости, на реке

Миассе, состоялось крещенское водосвятие. При богослужении, проведенном весьма торжественно и чинно, провозглашалось по положению имя императора Петра III.

В крепости пугачевскими отрядами был забран порох и пять пушек.

В то время как генерал Деколонг строил реншеты о дальнейших поисках пугачевцев, атаман Грязнов произвел переформирование отрядов, усиленно обучал их конному и пешему строю, стрельбе из ружей и пушек. Конные башкирцы то и дело привозили свежие новости из-под Челябины. Окрестные деревни ждут не дождутся пугачевцев, а генерал Деколонг засел за челябинские стены и вылазок не делает.

В конце января атаман Грязнов с армией в четыре тысячи человек выступил из Чебаркуля по челябинской дороге.

30 января утром высыпавшие на вал жители Челябины увидели на ближайших холмах скопление конных и пеших пугачевцев. По дорогам, ведущим в Челябину, рыскали небольшие партии и останавливали идущие в город подводы с грузом и провиантом. В этот день в город были пропущены только крестьянские подводы, да и те ввусте.

31 января капрал из роты подпоручика Пушкарева поймал из высланного пугачевцами дозора крестьянина Калину Гряткина. Калину тотчас препроводили в воеводскую канцелярию. Допрос učinяли товарищ воеводы Свербеев и сам его превосходительство генерал Деколонг. Глядя волком из-под мохнатых, нависших бровей, мужик долго заширался. Только под битьем плетью он показал, что в Челябине подошел с воинством сам атаман Грязнов; жительство атаман имеет

в деревне Першиной, где против атаманского дома выставлены пушки.

Подлинно штаб атамана Грязнова остановился в шести верстах от Челябины, в деревне Першиной. Каждодневно к избе, где жил атаман, прибывали крестьянские депутации, прося их принять под свое покровительство.

Приходили депутаты из Карачельского форпоста, села Воскресенского, слободы Кургамышской и прочих окрестных у Челябины сельбищ. Атаман принимал их, сидя в красном углу, в чистой горнице. На нем был добрый бешмет гулевой, яловые сапоги. Русая борода расчесана. Был он доходчив и приятен в разговоре. Депутатов обласкал, допытывался о их жизни и просил высылать казаков.

Просьба атамана была уважена, но дорогам, по заснеженным запуткам тянулись конные и пешие дружины к Першиной.

Вечером 31 января сотники собрались в избу к атаману для неотложных дел. За окном на выгоне мела колкая пурга. За стеной под повестью ржала кобылица, лошади мерно хрунали овес. На улице под ногами прохожих и полозьями скрипел мороз. В горнице на столе стоял черный каганец с салом, и слабое пламя то вспыхивало, то умирало. В углах горницы сгустилась темнота. Печь была накалена; в избе стояла духота и спертый от человеческого дыхания и пота воздух. На полотах, опустив вниз головы, лежали полуголые ребятишки и разглядывали сотников.

Сотники оживленно и горячо спорили с атаманом. Высокий; осповатый, с серьгой в ухе, сотник, покрывая голоса товарищей, кричал:

— Нелюбо, не могу, как баба, сидеть тут на хуторах. Пусти, атаман, на Челябину!..

— Ты погоду, погоду, — откликнулся Грязнов. — Эка, какие горячие объявились! Перво-наперво, отрезать надо, чтобы ни туда, ни сюда... Попрядят все...

— Чего годить? — хлопнул плетью по голенищу сапога строптивый сотник. Глаза его засверкали.

— А ежели его самого в поле вымануть, так не лучше ль будет так? — оглядел атаман сотников.

— И то верно! — раздались голоса.

— А вот...

Атаман не докончил, хлопнула дверь, и в сенях завозились.

— Стой, пес, куда прешь! Стой! — закричали часовые.

Слышно было, как кто-то отбивался в сенях.

— Мне к самому надоть, пусти, ирод. Он, чать, меня знает.

— Вяжи! — крикнул чей-то грубый голос.

— Ироды, лонни мои глаза...

Шум за дверью усиливался. Атаман и сотники повернули головы.

— Эй, кто там? — крикнул атаман. — Впусти!

Он положил руку на рукоять сабли. Дверь с шумом распахнулась; в морозном облаке в горницу ввалился человек в зипунишке, повязанный бабьим пуховым платком. Лицо красное от мороза, по краям платка бахрома инея.

— Перфилька! — опознал атаман. — Никак от воеводы с денешей?

Старик постучал пимами о пол, подул на озябшие руки:

— Чортушки твои не хотели пустить. Заморозили...

Сотники разглядывали старика. Он неразборчиво что-то бормотал, поглядывал на атамана; по глазам Грязнов видел, что Перфилька таит важное.

— Сказывай, что воевода препоручил? — посмотрел на него атаман.

— Препоручит... Жди ишшо...

Снизив голос до шопота, Перфилька проворчал:

— И передохнуть не даст сдороженному человеку.

— Ты что ж, аль опять к куме в гости пожаловал, а? — весело подмигнул атаман.

— А может и к куме; баба, чать, неилохая, — огрызнулся старик.

— Ну, батень, не бойся, — атаман подошел к старику и похлопал по плечу, — сказывай, тут все свои.

Старик поднял голову, с минуту пристально смотрел на мигающий огонек в каганце, потом сказал деловитым тоном:

— Завтра поуtridge ждите сюда...

— Кого? — разом спросили сотники.

— Генерал на Першину попрет. Поняли?

— Не врешь? — Атаман вплотную подошел к старику и впился в глаза.

— Сказано — не придумано. Пусть блоха скачет, а вы-то под ноготь, под ноготь ее. — Перфилька улыбнулся беззубым ртом и добавил: — Я ему боле не слуга, он мне не хозяин. Не хочу быть боле холоум. Хочу вольной жизни...

И он просяще уставился на Грязнова.

Утром 1 февраля ворота Челябинской крепости распахнулись, и из нее с развернутыми знаменами, с барабанным боем выступила

армия Деколонга. В бой шли полевые команды и артиллерия. На полдороге к Першиной с холма спускалась пугачевская башкирская конница. Солдаты встретили ее недружным залпом, однако башкирцы повернули и ускакали за холм.

Деколонг установил артиллерию, развернул колонны и повел в гору.

С высот пугачевская артиллерия открыла меткий огонь. Навстречу войскам Деколонга с горы спускалась крестьянская пехота. Шла она нестройно, но уверенно. Было что-то новое и грозное в тяжелом шаге этой пехоты.

Генерал не ожидал такой встречи. С ближайшего холма он наблюдал, как солдаты, приостанавливаясь на ходу, с колена неуверенно и нестройно обстреливали противника.

Ряды сомкнулись, и нельзя было разобрать, где свои, где чужие. Кто-то кричал «ура», но кто — неизвестно.

У генерала упало настроение. Он с тревогой поглядывал то на Челябину, то на сани с медвежьей полостью, которые поджидали его за холмом.

Подпоручик Пушкарев со своей ротой обошел в левый фланг противника и бросился к орудиям.

— Братцы, наших бьют!.. Братцы!..

Началась рукопашная. Бились прикладами, кулаками, кусались. Подпоручик с десятью рядовыми пробился к орудиям и напал на канониров.

Пугачевцы дрались свирепо. К вечеру полевые команды отбили у пугачевцев два орудия и заняли высоту. К городу гнали сотни две плененных крестьян.

Генералу подали сани, он уселся в них, плотно укрывшись медвежьей полостью и, со-

проводимый конниками, поехал к занятой высоте. Поднявшись на нее в сопровождении подпоручика Пушкарева, он посмотрел вперед. До деревни Першиной оставалось подать рукой.

Но на холме у Першиной снова загремели пушки и толпилась пехота. Влево по льду неслась башкирская конница.

Подпоручик посмотрел на генерала:

— Прикажете, ваше превосходительство?

Генерал молчал.

— Может прикажете? — повторил Пушкарев.

Генерал встрепенулся.

— Прикажете? Что прикажете? Ах, да-да... Приказываю, я думаю...

Он помолчал, пристально посмотрел в сторону Першина:

— На сегодня хватит... Да-да... поверните к Челябинску.

Он сел, кряхтя, в сани и поехал в город.

Команды с песнями возвращались в город, гоня впереди себя пленных мужиков и два захваченных орудия.

Стан атамана Грязнова как был, так и остался в деревне Першиной. Сидя на лохматой бойкой башкирке, Грязнов наблюдал за отбитой высотой. Он видел, как генерал вылез из саней и подошел к орудиям. Его сопровождали офицеры.

Рядом в новом дубленом полушубке топтался Перфилька.

— Вот он, наш вояка! Вот он! — кричал он, указывая Грязнову на далекие фигурки на холме.

Когда генерал сошел с холма, сел в сани и помчался к Челябинску, Перфилька засмеялся едко и колко:

— Што, струсил... А кто теперича поштанники генералу отмывать будет... Чать, все холонья разбежались...

Атаман улыбнулся, повернул коня и поехал вдоль фронта.

Генерал не спал всю ночь, страдая от дум бессонницей. Только сейчас он понял, что Челябинка почти окружена. Два последних дня в город не доставляли провiantу. А между тем... кто знает?..

Утром генерал вызвал к себе бургомистра Боровинского и Свербеева. Лицо у генерала от бессонницы было серое, глаза потухшие. Он держал в руках письмо.

— Вот, — перевел генерал взгляд на пакет, — вот что мною получено от полковника господина Бибикова. Тамонняя окрестность и сам Екатеринбург от злодейских обращений весьма опасен...

Бургомистр переглянулся со Свербеевым.

— Дозвольте, ваше превосходительство, — засеменял пожками Свербеев, — дозвольте... Екатеринбург, надо полагать, обеспечен воинской силой. Меж тем Челябинка...

— Ах, — перебил генерал Свербеева и поморщился, — знаю, что Челябинка, но военная коллегия и главнокомандующий войсками изволят указать на защиту главнейше екатеринбургских заводов, знатную пользу государству приносящих. Да-с, господа...

Бургомистр и товарищ воеводы сникли головами: поняли, что Челябинка будет оставлена.

Генерал Деколонг писал в Омск генералу Скалону:

«~~Многие~~ государственные, экономические и прочие ведомств крестьяне, добровольно, без всякого от злодея принуждения, не только к стопам его (Пугачева) преклоняются, но, рассылая от себя к его партизанам нарочных, призывают в свои жительства, по каковым обстоятельствам, чтобы не расселилось это зло и в Сибирской губернии, а особенно не овладел бы злодей Екатеринбургским заводом, принужден с состоящими при мне воинскими командами, выстуня из Челябинска, следовать к Екатеринбургу, потому особенно, что злодейские партии поблизости уже оного разъезжают».

Крестьяне окрестных сельбищ явно склонялись на сторону Пугачева — это сознавал генерал. Но хуже всего его превосходительство боялся остаться отрезанным за стенами Челябинска. Опасения были не напрасны. Управитель Окуневского дистрикта Томилин, обрядив дружину в сто добрых и храброго намерения крестьян, в половине января двинулся на выручку Челябинска. Но, не дойдя (на пути его сильно беспокоили толпы башкирцев) верст тридцать до Челябинска, узнал, что город обложен пугачевцами и что всякого, кто из благородного звания, шлют на глаголь. Управитель дистрикта убоился и повернул с дружиной в свои палестины.

Когда Свербеев доложил воеводе о решении генерала, он зачертыхался, стал грозить.

Свербеев потер свои последние ручонки, поежился и выждал, пока утихнет воевода. Тут он шумно вздохнул:

— Я с вами того ж мнения, Алексей Петрович. Но...

Воевода быстро повернул голову и уставился в Свербеева.

— Но ежели он уйдет со своей армией, что тогда? — закончил товарищ воеводы. В голосе его зазвучали тревога и страх. — А он на то способен.

Воевода опустил голову и задумался.

На улицах толкались служилые и посадские люди. На видном месте выставлены были объявления Деклонга. И грамотен по складам вычитывали генеральское изъяснение:

«Имея важные и справедливые резоны, должен оставить город, взять с собою верноподданных и прямо служащих ее императорскому величеству идти внутрь провинции. Верноподданные жители, кои прямо и непоколебимо преданы государыне нашей, чтоб те б к походу с его превосходительством через двадцать четыре часа были б в самой крайней готовности, без тягостей и имея только на одни сутки себе пищи, конные верхами, а прочие пешие, с ружьем, какое у него имеется, были готовы и ожидали бы на всякий час к выступлению повеления».

Целый день людишки мыкались у досок с посланием генерала. Кунчишки чесали затылки: «Каково добро кидать, всего не свезешь ведь?»

Бургомистр Боровинский с депутатней кунчишек явился к генералу склонить его передумать решение, но генерал не вышел даже и не принял их. Всю дорогу кунчишки препирались:

— Сколь деньжищ ему перепихали, желтозубому кобылятнику, а он и глаз своих казать не хочет.

— Мерин, ей-бо, мерин, — обругался соляной кунчишка, но сейчас же с опаской огля-

нулся: «Не дай бог посадские людишки услышат».

Посадским людишкам не до того было. Родовались. Ждали Пугачева.

Меж тем воевода требовал список, сколь чего из Челябины нельзя увести. Выходило, знатно добра оставалось. По магазинам да амбарушкам купчишек, да Исетской провинциальной канцелярии, да у воинских цейхгаузов оберегалось шестьсот сорок восемь четвертей муки, тридцать семь четвертей круп, триста восемьдесят девять четвертей овса, двадцать тысяч четыреста семьдесят девять пудов соли. Ох, солоно приходилось воеводе! Горько столь добра оставлять!

Воевода охал, кряхтел. Его тучное тело еще донимали боли и прострелы. Но воевода шмыгал по горницам и поторапливал людишек складывать на возы рухлядь.

Воеводе готовили знатное число сибирских шуб, добрую колымагу, oprичь всего на особом возке попрятали укладки с бутылками романа и шпирту.

Генерал с того дня, как под Першиной побился с пугачевцами, глаз в воеводские горницы не показывал.

Докучно было воеводе. А тут еще приключилось такое. Забрел в канцелярию воевода — видит писчики сами не свои сидят, белы, глаза помутнели и речь несвязна. По горнице шибко шпиртный дух. Заобиделся воевода:

— Напоследок дорвались до кружала. Не совестно, ась?

Регистратор Колесников поднялся, ухмыльнулся:

— Ик-к... Совестно, ежели... Ик-к... — Ик-

нул и присел: — Ежели семь тыщ ведер шпирту выпускают...

— Как? — екнуло сердце воеводы.

— Так, — качнулся регистратор, — ежели желаете зреть, гляньте на Миасс... Не пропадать же добру...

На реке Миассе, подлинно в эту пору солдаты разбивали бочки, и спирт синей струей стремился в речку. Кругом толпились людишки, кто с чугуном, кто со жбаном, кто с шанкой, а иной и сапоги спял.

Но солдаты отгоняли народ, а сами косили глаза на булькающее зелье: «Эх бы, приложиться!»

Тут же ходил подпоручик Пушкарев и убеждал солдат:

— Крепись, крепись, братцы, присяга.

А сам воротил глаза: обидно было сердцу, что добро задарма пропадает.

8 февраля отряды Деколонга и гарнизонные команды города покинули Челябину. По зимнему сибирскому тракту на многие версты растянлись обозы. Ехали со скарбом и домашинной купцы и прочие жители града. Под охраной выезжали возки Псетской провинциальной канцелярии. Впереди всех, в колымаге, зарывшись в подушки и шубы, ехал воевода Веревкин. Поодаль, в колымаге же, ехали воеводские дамы. Тобольская рота подпоручика Пушкарева держалась вблизи воеводских возков. За ротой шли боле тыщи «временного казачества», шли рекруты, шли отставные офицеры.

Профос Федотка, и тот тащился за воеводским обозом в морозную сибирскую даль.

Стояла суровая зима, дороги перемело сугробами, под полозьями скрипел морозный снег. С полуночной стороны дул леденящий ветер.

Над обозами кружилось воронье.

Впереди всех ехал окруженный конниками генерал Деколонг.

Возле форпоста Карачельского, деревень Сухоберской и Зайковой на отступающих напали пугачевские отряды. Еле отбились. Хитрый генерал, пройдя полдня по тракту, свернул на торные дороги и пошел обходным путем, избегая врага.

Вслед курилась сибирская позёмка и заметала колким снегом следы.



ПОВЕСТЬ О БУЛАТЕ



1. ОСНОВАНИЕ ГОРОДА ЗЛАТОУСТА

Иван Мосолов был человек хитрый и беззастенчивый — набил руку на плутнях. В свое время он жил в Туле кунцом, обмеривал да обвешивал в своих лабазах и амбарах честной народ. Но стряслась беда: кунец завутался в темных сделках, разорился и понал в долговую яму.

С большим трудом выбрался из нею Иван Мосолов и упросил земляка-туляка Никиту Демидова взять его в услужение на уральские заводы. Задумал кунец вновь разжиться и завести свое дело. Оно так и вышло.

Уральские горные заводы строились руками привнесенных крестьян да кабальных людей. По указу царя Петра Алексеевича, весьма заинтересованного в развитии рудного дела, заводчики платили в казну за привнесенных к заводу крестьян налоги, внося их натурой — железом. Крестьяне за это обязывались робить на заво-

дах: конать и возить руду, жечь в лесных куренях уголь и ладить дороги.

За каторжную работу заводчики платили приписным крестьянам: конному — гривенник, пешему — четыре копейки в день. За нерадивую работу и ослушание к работным людям применяли батоги и плети.

Выжига Иван Мосолов попал приказчиком на Шайтанский завод к Никите Никитичу Демидову. Хозяин был хвор и немощен; его, парализованного долгие годы, возили в кресле по горницам. Сын хозяина Василий догорал в злой чахотке; в чаянии смерти он много бражничал и заводскими делами не занимался. Мосолов попал в прибыльное место и развернулся, — по своей купецкой натуре стал сильно приворовывать.

Демидовы догадывались о проделках приказчика, но уличить в воровстве не могли. В короткий срок Иван Мосолов зажирел, подкопил денег и задумал свое дело.

Кругом лежали горы и земли, богатые рудой. Они искони принадлежали башкирскому народу. Заводчики теснили башкирцев, обманным путем захватывали их земли и леса; они подкупали башкирских князьков — тарханов — и за бесценок скупили огромные пространства. Башкирцы не раз восставали. Тогда пылали заводы и русские деревни.

В обережение от башкирских набегов горнозаводчики строили крепостцы, обносили заводы тыном с рублеными башнями, окапывали рвами.

В феврале 1754 года по санному пути на ехал Иван Перфильевич Мосолов в Сыгранскую волость Башкирии. Здесь было приволье: край простирался гористый, богатый, в недрах —

залежи добрых руд; реки текли многоводные и пустынные; в кондовых лесах, как океан, гудели смолистые сосны да ели; озера изобиловали рыбой. Привольно кочевали кибитки башкирцев-вотчинников.

Иван Мосолов обладал дело приступом: одарил тархана бусами, гребнями, топорами, подпол башкирцев и заключил кучую на плодородные земли. По ней отходили кучу огромные пространства с лесными угольями, с покосами, с реками, с рудными местами. Отхватил Иван Перфильевич в один присест великий кус — двести тысяч десятин, а уплатил за него башкирцам-вотчинникам всего-навсего двадцать рублей.

Летом Мосолов пригнал на купленные земли приписных крестьян и кабальных, и они великими трудами своими поставили среди гор, в глубокой долине реки Ай, бревенчатый острог. Реку перегородили высокой плотной; возле нее соорудили завод для литья mortir и ядер. Неподалеку на возвышенном месте возвели церковь Иоанна Златоуста, и оттого назвали тот завод Златоустовским.

2. ПУГАЧЕВ И ЗЛАТОУСТОВСКИЕ РАБОЧИЕ

Горько жилось работным людям на Златоустовском заводе. Хозяин Мосолов подобрал управителя себе подстать. Степан Моисеев — заводский правитель — был лютый зверь и скряга. За каторжную работу платил гроши, кормил рабочих гнилым толокном и тухлым мясом; зато был щедр на багоги и плети. Мор-

дастый, корявый приказчик Ванька Попов всегда носил при себе кожаную трость, набитую песком.

Тяжелый гнет стал невыносим, и работные люди тайно послали к царице в далекий Санкт-Петербург верных людей с жалобой на заводчика.

Челобитчики писали государыне:

«Его прикарчики и нарядчики, незнамо за что, немилостиво били батожем и кнутьями, многих смертельно изувечили, от которых побой долговременно, недель по шести и полгода, не зарастали с червием раны. О тех же побой заводских работ исправлять не могут, а иные померли».

Рабочие-гонцы на завод больше не возвратились. Бродили темные слухи, что мосоловские люди настигли их в глухих лесах и пометали в страшные зыбуны-трясины.

Подошел 1773 год. Под заводскими стенами неожиданно-негаданно появились пугачевские отряды. Рабочие связали правителя и приказчика и с колокольным звоном открыли ворота.

Пугачев на белом коне въехал в Златоустовский завод-крепость. Народ обнажил головы. Поп трясущимися руками благословил крестом «крестьянского царя».

На крыльцо заводской конторы вынесли кресло. Пугачев слез с коня и уселся на него. Сурово сдвинул брови. Рабочие толкнули к его ногам приказчика Ваньку Попова в изодранном кафтане.

— Кровопивец? — строго спросил Пугачев.

Из толпы вышел старик-литейщик, степенно поклонился.

— Государь-батюшка, этот зверюга батожьем калечил народ. Он, как тать, обирал нас.

— Так, — Пугачев огладил бороду, подумал и махнул рукой.

Башкирцы подвели двух верблюдов; через горбы их положили перекладину. Десятки рук подхватили Ваньку Попова и повесили.

— Добро, — крикнул Пугачев и ткнул перстом в толпу заводских служащих. — А это кто?

Они покорно опустились на колени. Пугачев наклонился вперед, ветерок трепал его темную курчавую бороду. Он весело крикнул:

— Бог с вами, дегушки, прощаю вас. Служите мне, государю вашему, честно и радиво.

На площадь выкатили пушку и выстрелили. По горам покатилося эхо.

Пробыли пугачевцы на заводе только два дня. Они торопились навстречу царским войскам. Взяв шесть пушек, два пуда пороха, сто двадцать лошадей, триста баранов и семьдесят семь быков, пугачевская армия ушла в горы.

В течение года Златоуст несколько раз переходил из рук в руки; в июне 1774 года его осадил полковник Михельсон.

Делать было нечего, и восставшие рабочие отступили вместе с Пугачевым на Красноуфимск. Позади отступающих остались только груды развалин да в вечернем небе долго полыхало багровое зарево, — догорал завод.

Пугачев, поднимая крестьянские восстания, поспешно отступал правобережьем Волги. Его во пятам преследовали царские генералы. По дорогам, пристаням и селам каратели сооружали виселицы, глаголи, колья с колесами и лютой смертью казнили восставших мужиков.

В Златоусте вешать было некого — все рабочие ушли. Лишь в Шадринской провинции, в Уксянской слободе отряд генерала Деколонга захватил двенадцать златоустовских рабочих. Их пытали и казнили.

Спустя несколько лет Мосолов вновь восстановил завод и опять на нем потянулась каторжная для рабочих людей жизнь.

3. ЗЛАТОУСТОВСКИЕ КЛИНКИ

Велением императора Александра I златоустовские горные промыслы в 1811 году огошили в казну. Златоуст возвеличили до города горного округа и в нем разместили правление горнозаводского ведомства. Время подошло тревожное: на Западе за рубежами гремела слава французского императора Наполеона, а за Черным морем грозилась турки. Царь стал готовиться к войне. Златоустовский завод по его указу перевели на выделку сабель для отечественной конницы.

Правителем заводов в это время был Татарин — грузиный, хрипчатый старик. Он создал стариков-литейщиков и предложил варить сталь. Известно, что на клинки потребны стали твердые и упругие. Но сколько ни бились старики-литейщики, сталь выходила ломкая, неподатливая. Сабельные клинки из такой стали получались ненадежные.

В ту пору добротными клинками славилась старинные немецкие города Клингенталь, Страсбург и Золинген. Слава клингентальских мастеров гремела по всей Европе, и русское правительство решило пригласить их в Златоуст.

Немецкие мастера премного чванились, но делать было нечего, пришлось звать иноземцев. Зимой по санному пути на Урал приехали пятьдесят шесть клингентальцев. Зима в тот год стояла вьюжистая и морозная—на лету мерзли птицы. Иностранцы поражались просторам России, морозам, глубоким снегам и волчьему вою на перелесках.

Вели себя они очень осторожно. До плавки стали никого из русских не допускали. По секретному рецепту они плавили твердые и упругие стали.

Между тем в июле 1812 года Наполеон с полумиллионной армией переправился через Неман и вторгся в Россию. Началась великая отечественная война.

Русской коннице понадобились тысячи добрых клинков, сабель, шпаг и казачьих шашек. День и ночь работал Златоустовский завод. Работные люди выбивались из сил, но заказы выполняли в срок. Немецкие мастера удивлялись. Как это так? Живут рабочие в кабале, ходят тощие и оборванные, правитель Татаринов жмет чрезмерно, а они добросовестно стараются. Один любопытный клингенталец не утерпел и спросил горнового:

— Ви руськи страны народ. Француз боитесь, оттого так работайт?

Горновой, бородастый кержак, изумленно поглядел на немца.

— Пошто боимся французов? Напальёна нам не надо. У нас своих господ да хапуг сидит на шее до беса. А отечество свое защищать до последнего будем!

Немец пожал плечами.

— Но ви живешь плёхо?

— Хошь плохо, а отчизна. Придет время, ударит час, и мы заживем!

Под густыми бровями глаза кержака вспыхнули раскаленным углем. Клингенталец смутился, он вспомнил рассказы про Пугачева. Здесь еще совсем недавно работные расправлялись со своими господами. «Кто его знает, этот народ?» — со страхом подумал немец и прекратил разговор.

С далекого Урала по рекам плыли караваны, груженные златоустовским литьем: пушками, ядрами и клинками. Зимой по санной дороге скрипели обозы. Урал вооружал русскую армию.

Шли годы. Врага изгнали из родной земли. А клингентальцы все работали. Они так и не открыли секрета литья упругой стали.

4. ЦАРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЛАТОУСТ

В августе 1824 года к правителю Татаринову прискакал казак с эстафетой. Оренбургский военный губернатор конфиденциально сообщал, что в сентябре в Златоуст пожалует пребывающий в путешествии император Александр I. На заводе начались переполох и суета.

Со всего края сгонялись крепостные и приписные крестьяне. По ночам на дорогах горели костры — ладили дороги, чинили мосты, засыпали болотины, каложины, слали гати. В придорожных деревнях убирали лачуги и землянки, ставили плетви. На заводе красили корпус. Вокруг посыпали чистым песком. Заводские стены были старые, потому их подперли бревнами, а чтобы прикрыть подпорки, заклали их затейными штабелями. Правитель Татаринов

охрип от брани. Он бегал по заводу, наезжал на переправы, всюду стараясь поспеть. Под его наблюдением строили павильоны, на которых готовили иллюминации. Девочек обучали хоровам. По отремонтированным дорогам разъезжали доезжие, которые гнали мужиков в объезд, чтобы те не смели ездить по дороге, приготовленной для царя.

Государя сопровождал придворный повар Миллер. Однако Татаринцов с дальних и ближних горных заводов привез десятка полтора знатных стряпух. С неделю они препирались о выборе яств для царской свиты. Костлявая и угреватая госпожа Татаринцова суежилась больше всех. Она даже днем не снимала с жидковолосой головы напльоток. Супруг же для угождения свиты сыскал снисходительных дам, в благосклонстве которых не сомневался. Прелестницы много дней занимались припарками и притираниями. В правительских горницах перед зеркалами они учились реверансу и столичному жеманству.

Рабочим из заводских кладовых выдали новые сапоги и кафтаны. По поселку отдали строгий приказ: в царский приезд надеть праздничную одежду и иметь веселые лица. Тем, кто не имеет праздничной справки, запретили выходить на государеву дорогу и попадаться на царские глаза. Они должны были отсиживаться в чуланах и сараюшках.

Командир инвалидной команды, охраняющей заводской острог, сбился с ног, кулаки его распухли от усердия. Задержанные на правее мужики под его неусыпным наблюдением скоблили пол и стены «терновки», чтобы уничтожить следы крови. Осторожный двор усыпали

желтым песком и, как в троицын день, усадили срубленными березками. Со двора убрали замызганные и не раз политые кровью козлы, на которых стегали ненокорных.

Лучшие златоустовские мастера слепили глаза над отделкой оружия особенной красоты и узоров. Это оружие намечалось преподнести государю. Клингентальский мастер изготовил лучшей отливки шпагу для царя.

Наступили погожие дни; по утрам из-за гор поднималось бодрое солнце, и все рдело под его лучами. Придорожный дубняк пламенел под осенним солнцем своими багряными листьями; березовые рощи лениво опустили рыжие космы.

В день царского проезда на Березовой горе выстроили самых проворных и сильных рабочих. С горы шел весьма крутой спуск, и доверять царское тело ненадежным лошадям побоялись.

Перед шеренгой важно расхаживал правитель Татаринов и пристав Апсалон. Все с волнением поглядывали на дорогу: не пылит ли? До полудня простояли в большой тревоге под припекающими лучами солнца. Наконец вдали показались экипажи. Впереди всех на почтительном расстоянии скакал казак.

Сильные и матерые, как звери, кони легко и быстро внесли царскую коляску на гору. Позади мчалась свита. Государь сидел в карете, отвалившись на спинку, и слегка щурил близорукие глаза. Широкое лицо его розовело на солнце и оттенялось чуть-чуть рыжеватыми баками; лоб был высокий и крутой.

Люди упали на колени; государь благосклонно улыбнулся. Тренища от страха, к коляске подошли Татаринов и пристав Апсалон.

Правитель завода низенько поклонился, а пристав по воинскому артикулу взял во фронт и выпросил высочайшее соизволение спустить коляску под гору на руках. Царь милостиво кивнул, и целые десятки крепких рук разом выпрягли коней. Коренником впрягся великан Лучкин, а рядом с ним еще десятка два. Экипаж плавно и медленно спустился под гору. Государь загляделся на Лучкина и поманил великана пальцем. Лучкин, не робея, подошел к подножке экипажа и устоялся в царя. Государь внимательно оглядел высокую грудь богатыря, его плечи, руки и приказал:

— Этого человека причислите к моим слугам!

Вынув серебряный рубль, государь бросил его на дорогу.

На золотоустовских улицах расставленный инспалерами народ встретил царя громогласным «ура». Бабы по наказу Татаринова выбегали на дорогу и подстилали под царскую коляску белоснежные холсты и полотенца.

На другой день на заводе было устроено народное гулянье: по команде дружно водили хороводы, пели песни, играли игры. Вечером на павильонах и на заводском пруду горели потешные огни и в площадках дымилось сало.

Государь стоял у окна и любовался огнями. Кругом стояла осенняя тьма. Склонив голову, царь прислушивался к шуму в турбинах. Он поднял удивленные глаза на Татаринова:

— Почему так долго работают?

Правитель склонил голову.

— Государь, рабочие получают сдельно. Жадный народ здесь. Мы гоним их домой, а они не желают.

Царь повернулся спиной к окну, кивнул:

— А-а-а...

Царь посетил завод. У горнов неуклюже топтались рабочие в праздничной одежде; она стесняла их движения, как стесняло и мешало работе присутствие царя. Однако, несколько не смущаясь этим, государь подошел к одной наковальне и попросил молот и ручник. Ему подали что-то недокованное. Царь величественно взял молоток и стукнул им два раза. Татаринцов умилился:

— Государь, вы как заправский кузнец, изволили сковать гвоздь.

Император снял испачканные перчатки, бросил их и сказал строго:

— Царь должен все уметь.

В арсенале он присутствовал при золочении клинка и был весьма восхищен виденным.

В это время, когда государь знакомился с заводом, жизнь в Златоусте шла своей чередой. В рабочей слободке две посадские женки, позабыв управительский наказ, с пеной у рта поносили друг друга и таскали за волосы. К счастью, драка произошла в глухом переулке, баб быстро розняли и за ослушание наказали розгами. Рабочий Семен Репин не обул сапог, выданных ему на царские дни из заводских кладовых, и сказал:

— Для чо обувать? Все равно Татарник-стерва завтра отнимет. Кроме прочего, не желаю обманывать сам себя.

Опасного человека за ослушание посадили на цепь и били палками.

Перед отъездом государь осчастливил одного клингентальского мастера и посетил его дома. Вместе с гостеприимными хозяевами он уселся

откупать немецких блюд. Белокурая немка покраснела под пристальным взглядом царя и прятала под фартук большие потные руки. Остроносый немец, воздев кверху руки, вздыхал:

— Майн гот, как я шчастлиф, ваше величество!

Никто не догадывался, что любопытный и зоркий адъютант императора князь Волконский ведет дневник. Вечером, когда государь отошел ко сну, он взял у прислуги шандалы с возженными свечами и тихо удалился в свою горницу.

Раскрыв дневник с записями о путешествии, князь записал:

«Узнано много: на заводе люди годами питаются хлебом и водой, не имеют горячей пищи и мяса. За тяжелую работу в течение десяти, двенадцати и пятнадцати часов рабочие получают, кроме хлеба и воды, три копейки серебром. На рудничные работы посылаются дети восьми лет и старики за шестьдесят — увечные, слепые, хромые».

Князь спокойно посыпал песок по написанному, пошелестел бумагой и аккуратно закрыл дневник.

Государь так и не узнал правды.

В солнечный день он отбыл в Сибирь. В поклаже взяли златоустовские подарки: золотой самородок, лучшие клинки. За царским поездом на рысестом коне ехал Лучкин, обряженный в синий казакки.

Как только из глаз провожающих скрылся царский поезд, на заводскую плотину въехали дроги, груженные лозой. На площади заботливо выставили на время припрятанные козлы. Возле них понуро стояли провинившиеся.

В острожке командир инвалидной команды крушил натканые березки:

— Будет! Настоялись-патешились!

Все пошло по-старому. Только страдающий одышкой Татаринов умильно поглядывал на красовавшийся на груди орден святой Анны.

5. ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР АНОСОВ И ЕГО МЕЧТА О БУЛАТЕ

В 1830 году начальником Златоустовского завода назначили горного инженера полковника Аносова. Приехал он к месту службы без пышности, в порыжевшем от солнца муцире. Инженер проворно выскочил из экипажа и зорко огляделся.

— Оред! — определили рабочие. — Поглядим, как в работе будет?

Прямо с дороги Аносов прошел в мастерские, где мастера при тусклом свете облаживали клинки. Он молча кивнул им и, взяв из рук у одного из них клинок, долго рассматривал. Инженер неожиданно выгнул клинок — сталь не выдержала, переломилась.

— А лучшую сталь могут здесь лить? — спросил полковник.

Мастер обиженно развел руками:

— Где уж нам. Была бы хоть такая!

— Это не сталь, — горе. Кто из вас старожил?

Старик сурово сдвинул брови.

— Я роблю тут сорок годов, а есть которые и поболее. Как варить сталь, никто толком не знает. Тут всем ворочают немцы, а казать — никому не кажут.

Волосы на голове мастера прижаты ремешком; на груди фартук. Аносов энергично шагнул вперед и взял старика за руку.

— А что, если самим варить сталь?

— Попробуй! — Иконописное лицо старика осветилось скудной улыбкой.

— Попробуем, и ты поможешь.

Мастер засопел, промолчал. Трудно было понять — то ли согласен он, то ли зол стал.

Инженер Аносов засел в литейной. Вдвоем со стариком они ходили по амбарам, составляли смесь и плавил. Однако сталь выходила бледная и хрупкая. Старик сокрушенно качал головой:

— Ништо у нас не получится.

— Попробуем еще. Не может того быть, чтобы немцы лучше нас сталь варили.

— Не может, — охотно соглашался литейщик.

Порыжелый мундир начальника прожгли во многих местах, руки его погрубели. Глядя на упрянца, старик жаловался:

— Наши смеются, на тебя гляди, а ты не выдай. Наши народ такой — смеются, а сами радости ждут: вот-вот превзойдешь ты немцев.

Клингентальцы не на шутку всполошились; по заводу они ходили табуном и о чем-то спорили.

Между тем победило терпение. Старый литейщик и полковник Аносов открыли секрет — сварили добрую сталь. Из этой стали мастера сделали клинки и обробовали их. Они не сдали перед немецкими.

— Zu Ende! ¹ — возвел к небу руки старый клингенталец, у которого гостил русский император: — Mein Gott. ²

¹ Конец.

² Мой бог.

— Вы угадали, с сегодняшнего дня вы свободны, — не смущаясь, предупредил немцев Аносов.

Разобиженные немцы долго не хотели уезжать из завода, чего-то выжидали. Наконец пришло распоряжение об использовании их на других заводах.

С тех пор на Златоустовском начали варить сталь русские мастера. Сподручный Аносова старик Шевцов подучивал сыновей этому искусству.

6. ТОЛЕДСКИЙ КЛИНОК

В 1834 году на завод прпехали офицеры кавказской армии. Шумная офицерская компания разместилась в пустынных горницах управительского дома. Завод готовил к отправке партию клинков. Стояли июльские звездные ночи. С Косогура обдавала прохлада; в горах за козлами охотились браконьеры. Прделавшие дальний путь офицеры скучали; по вечерам бразничали и волочили за дамами.

Полковник был с гостями отменно вежлив, но холоден. Недовольный их равнодушием к златоустовскому литью, он спросил:

-- Не пойму, отчего не по душе наша сталь. Посмотрите, — Аносов вынул из кармана стальную пластинку синеватого отлива,дохнул на нее, и сталь запотела.

В ответ на это офицер-кавказец вынул из ножен клинок и протянул полковнику. Аносов замер от восхищения: на клинке темнела пасть волка — клеймо толедских литых булатов.

Руки инженера задрожали. Он не мог ото-

рвать глаз от клинка, по которому струился синеватый узор, словно растекался таинственный металл. Аносов вглядывался в узор: откуда и кто создал этот литой булат? Из каких глубин Азии он?

Офицер взял из рук Аносова клинок и взмахнул им. В ушах полковника просвистел ветер. Сталь блеснула синеватым огнем.

— Желаете, я покажу вам, что делает этот булат?

Не ожидая ответа, он вынул из дорожного чемодана газовый платок, от которого пахнуло тончайшими духами. Он с минуту колебался; нежный запах, видимо, напомнил ему далекое и любимое. Тряхнув головой, он подбросил платок и протянул булатный клинок. Тончайшая ткань коснулась клинка и распалась надвое.

На лбу Аносова выступил пот. Очарованный, он смотрел на клинок. Офицер улыбнулся и подошел к стене. В ней торчал толстый гвоздь. Не успел Аносов опомниться, как клинок просвистел, и отрубленный кусок гвоздя, звеня, покатился под стулья.

— Видели! — офицер бережно сунул клинок в ножны.

Аносов понял, каким сокровищем обладал гость с далекого Кавказа.

За окном шелестели березы. В горницу доносился слабый грохот молота и шум турбин. Звезды светили ярко. Офицер вспомнил дальний край, темные южные почвы, вздохнул и запел вполголоса песенку. Аносов сгорбился, повернулся и ушел к себе в кабинет.

В эту ночь он не мог уснуть. Лежа в постели и глядя на темносинее ночное небо, он вспоминал, как струится и играет синеватыми

узорами таинственный клинок. Светящиеся из бездонной глубины звезды казались ему блестящими этого чудесного сплава.

Офицеры приняли златоустовские клинки, снарядили обоз и уехали на Кавказ. Прощаясь с владельцем булата, Аносов попросил разрешения еще раз посмотреть клинок. Он долго разглядывал притягательный узор. Тот мерцал неугасающим блеском. В эти мгновения мысли Аносова побывали в неизвестной стране, отыскивая колдуна-мастера, сотворившего это чудо. Кто он, этот человек?

Целую неделю молчаливый полковник бродил по горам. Старик Шевцов, глядя на его крепкую фигуру, говорил:

— Пусть выводится. Ишь ты, больно задел его булат! Ровно милую стерял.

Подошла сухая и теплая осень. Дали стали прозрачными, на озерах шумели последние гусиные стайки.

Однажды к Аносову приехали верхами два башкирца. Он закрылся с ними в горенке и долго горячо спорил. К вечеру все трое оседлали коней, и Аносов уехал с башкирцами.

7. ПОИСКИ БУЛАТА

Инженер Аносов, обряженный в грязный киргизский халат, вместе с башкирцами разъезжал по кочевьям.

Прошли первые осенние дожди, вновь зазеленела трава, гулёна-ветер гнал вдоль степи быльняк «нерекати-поле», — он сиротливо катился к горизонту. В дикой степи не было наезженных дорог, по пути шли всюду.

У озера Сабакуль путники встретили кибитки бая. Байские юрты и добро остерегали остервенелые псы. В ковыльных просторах паслись косяки добрых коней. Тонконогий резвый скакун водил табуны к водою, кони покорно шли за золотистым вожаком. В байском становище стояло семь юрт; в шести из них жило по жене. Бай прожил семьдесят пять лет, редкая бороденка покрылась инеем седины, но глаза его были полны молодого блеска. Он царственно сидел на подушках и гостеприимно принял путников. Башкирцы поведали ему о неправдоподобных богатствах Аносова. Бай недоверчиво разглядывал засаленный халат гостя. Инженер сидел гордо, осанисто, и по его орлиному взору киргиз понял, что гость его необычный.

За жирным пловом хозяин показал гостям булатный клинок. Как и в толедском клинке, от него струился тот же синеватый блеск. Аносов мысленно представил, сколько людей держало этот клинок и сколько горячей крови пролилось в свое время на эти синеватые узоры.

Словно угадывая его мысли, бай взял из рук Аносова клинок, бережно провел по грани пальцами и сказал:

— Клинок этот сделал арабский мастер Абдурахман; он знатно полнит кровью. Дед заколол им двух неверных жеп; обычай веков говорит: кто опозорит постель мужа, тому смерть. Клинок этот переходит из поколения в поколение, и каждое из них обагрят его кровью.

Башкирцы почтительно молчали. Хозяин досказал повесть о клинке:

— Оплачен клинок табуном скакунов, и словно заклятье легло, когда клинок ушел от хозяина, — в зиму стояла гололедь, и табуны его полегли в степи, не добыв корма.

Аносов изумлялся синеватому блеску булата. Верил и не верил рассказу бая. Башкирцы умниали махан, с толстых губ стекало сало, они обсасывали пальцы.

За кумысом башкирцы предложили хозяину продать булатный клинок.

Бай теребил редкую и жесткую бородку, посапывал.

Аносов выжидательно смотрел ему в глаза. После долгого раздумья хозяин поднял голову:

— Теперь таких булатов не делают, и ты беден, чтоб купить его!

Звякнуло монисто. Бай покосился на полог. Аносов увидел, как в щели мелькнули черные лукавые глаза.

Башкирцы переглянулись, встали. За юртой лаяли псы; ветер издалека принес унылую степную песню.

Солнце раскаленным ядром упало в ковыльные дали, когда путники покинули байский кош. Над озером догорали последние отблески зари.

Ночью ехать было хорошо.

Кони бежали бодро. Звезды указывали путь. На курганах путники встретили волчицу, она лягнула зубами и, поджав хвост, убежала в балку. Дорогу пересекали ильмени, на них кричали перелетные птицы.

Наутро, под Чабаркуль-озером, на гребне дальних курганов Аносов увидел всадника. Следом за путниками, как ветер, мчался степной скакун. Под копытами разгоряченного коня сверкали брызги росы.

Аносова нагнала черноглазая киргизка, ветер рванул ее распущенные косы. Она, размахивая булатным клинком, закричала ему:

— Эй, возьми Жамиль!

Девушка была хороша, стройна, ее узкие косые глаза полны блеска. Она, торопясь, страстно о чем-то говорила, но Аносов ничего не понимал.

Башкирцы слезли с коней и подошли к ним:

— Она кричит, что убежала от старого бая. Она захватила с собой булатный клинок и просит джигита помочь ей укрыться в степи. В награду она предлагает клинок.

Спутники выжидательно смотрели на Аносова.

Он молча взял девушку за руку и залюбовался ее смуглым лицом, ослепительными мелкими зубами. Ему было хорошо с этой смелой девушкой среди росистой степи, но предложенное ею казалось невозможным. Аносов отрицательно покачал головой:

— Нет, скажи обратно!

Башкирцы повеселели.

— Ее убьет бай! — сказал один из них.

Аносов подумал и предложил:

— Возьмите ее обратно. Скажите, что русский насильно увез ее, а вы, верные долгу гостеприимства, отняли добычу и вернули хозяину...

Башкирцы перевели слова Аносова. Девушка вскинула, сверкнула злыми глазами. Аносов протянул руки, хотел прижать ее к груди, но она оттолкнула его, пронзительно взвизгнула, огрела скакуна плетью, как птица взметнулась и унеслась в степь.

За ней с гиканьем и свистом помчались башкирцы.

Прошла минута, на гребне дальних холмов задымилась пыль, и конники скрылись за высотами.

В степи остался один Аносов. Сверкал росистый ковыль, из-за древних курганов поднималось солнце. Синело небо. Среди всего простора он был один, и все, что было минуту назад, казалось ему сном.

Аносов пустился в путь. Он ехал степью, она была обширна и необозрима. На пути не было ни становищ, ни кошей, морскими волнами шелестел ковыль да в небе кружили орлы.

На седьмой день Аносов встретил на пути степное озеро. На берегу темнела юрта. Из нее вышел старик; он был древен -- беззубый, с сетью тонких морщин на лице. Чем он питался в пустыне, так и не дознался Аносов.

Он рассказал старику про хана из коша Сабакуль и про булат. Старик заморгал глазами и ухмыльнулся:

— Ты ехал шесть дней, но путь к булату лежит дальше на восток. Я знаю за озером караванную дорогу, и она, быть может, приведет тебя туда, где делают булат. В старину и здесь имелись мастера, да перемерли...

Кругом расстилалась степь, столетия прошли по ней; где-то далеко на западе русские строили крепости, подвигаясь на восток.

Аносов попросил старика:

— Дед, покажи дорогу!

Старик был легок на ходу; он вывел путника на протопанную караванами дорогу.

Аносов нагнал торговый караван и упросил взять его. Туркмены в бараньих шапках рассказывались на высоких верблюдах; они подозрительно оглядели Аносова, но польстились на

обещанную награду, и он остался в караване. Днем было жарко; путники пекли яйца прямо в песке. Ночи были душны, нестерпимо мучили москиты.

Много дней шел караван желтыми зыбучими песками и, наконец, добрался до Бухары. Аносов честно расквитался с караванщиками, и они долго кланялись ему и щедро слали пожелания.

В старой Бухаре шумел большой оружейный базар. На ковриках, в тени жалких навесов, в молчаливом созерцании сидели торговцы с раскрашенными бородами. Поблескивало драгоценное оружие. Рядом в мастерских молодцы с выбритыми головами ковали мечи. В толпе, в пыли толкались воинственного вида всадники. На дальнем минарете древней мечети прокричал муэдзин. Кругом стоял шум, говор, звон. Жестяники брядали медными тазами и кувшинами, лудили их. Сквозь толпу продирался голый бесстыдный дервиш. Он был так сух, что, казалось, его острые кости прорвут на иссохшем теле пергаментную кожу. Ревели верблюды, брызгали слюной в прохожих. Как привидения скользили укутанные с ног до головы женщины.

Как пьяный ходил Аносов по шумному базару.

«Вот где можно узнать секрет, как делают булаты!»

В прохладной тени лавчонок синеватым блеском отливали развешанные клинки. Аносов выбрал самого старого и самого почтенного торговца оружием и попросил его показать булаты.

В караване он научился говорить самые необходимые слова. Торговец выложил перед ним драгоценную коллекцию клинков. Среди

них были прямые и тонкие, как жало осы,—они легко сгибались, как ковыль под ветром, в их упругости и пластичности сказывалось тонкое мастерство; здесь были и змеевидные клинки: как пламень, они извивались синеватым блеском. Тут лежали и широкие, кривые мечи, похожие на месяц в новолунье.

«Несомненно, это настоящие булаты!»—решил Аносов и выложил перед старым кунцом золотые червонцы.

— Я отдам тебе все это богатство, если научишь меня отливать эти булаты...

Старик равнодушно посмотрел на золото и спокойно сказал:

— Я вижу, господин, ты прибыл из богатых стран и понимаешь толк в булатах. Увы!—в голосе торговца зазвучала печаль.— Ты видишь здесь большой оружейный базар, но здесь только умеют точить клинки и чинить старое оружие.

— Но откуда ты привез эти сокровища?—Аносов указал на булаты.

Старый торговец улыбнулся.

— Это из Сирии. Добрый человек, ты хочешь найти то, что давно утеряно. Не ищи его здесь. Поезжай в Дамаск, только там еще остались настоящие мастера.

Вечером Аносов и старик сидели в чайхане. Они пили мутный горячий чай; в плошках горели тусклые огни. Старик поучал инженера:

— Люди очень стали падки на золото, но помни: настоящее мастерство не купишь. Оно дается любовью.

Бухарский торговец был большой мечтатель и поэт. В долгие вечера в чайхане он рассказывал Аносову замечательные истории.

Аносов услышал от старика древние арабские сказки. Ему казалось: все, что произошло с ним, очень походит на фантазмагорию из «Тысячи и одной ночи». Но он не забывал своей мечты и отправился в Дамаск.

В горах Афганистана на него напали пастухи, носившие за плечами длинные ружья. Они ограбили его. Он ушел от них голый и беззаботный, как перекати-поле. Но настойчивость его походила на толедский булат, тайну которого он отыскивал.

Аносов шел пешком, как нищий, все дальше и дальше; он пересек горные хребты, песчаные бесплодные пустыни, зеленые оазисы, оживленные восточные города. Никто не узнал бы в нем офицера русской армии, начальника знаменитого Златоустовского завода.

Прошло два года скитаний по восточным странам; в один из дней перед Аносовым открылась долина Дамаска. Город утопал в зелени садов, над которыми пестрели цветами лянислазури изразцовые куполы мечетей и храмов. Небо простиралось голубое, бездонное. По дороге, проходящей среди безжизненных скал, шли толпы забытого народа; на чистокровных скакунах ехали высокие воинственного вида арабы; кричали ослы, погоняемые палками погонщиков; медленно раскачиваясь, шел караван верблюдов.

Под сожженной солнцем смоковницей лежал одинокий путник и тихо стонал. Серый ослик, нагруженный переметными сумами, стоял возле него, уныло понурив голову.

Аносов подошел к больному и наклонился над ним. Старик был сух, изможден, в его глазах он прочел мольбу.

— Я не могу дальше ехать. В дороге меня одолела болезнь, — жаловался он.

В километре от смоковницы виднелся колодезь. Аносов сходил к источнику, принес прохладную воду и утолил жажду старика.

За раскаленными скалами скрылось солнце, и быстро наступила ночь. С гор повеяло прохладой. Старик не мог ехать на ослике. Аносов, недолго думая, взвалил старика на плечи и понес к Дамаску.

Это была нелегкая ноша, но он не сдавался. Аносов и не подозревал, что сегодня, как никогда, он близок к цели.

Аносов притащил старика в лачугу и уложил на жесткое ложе. Из-за соседней двери выглянула девушка. Тонкое матовое лицо оттеняли черные кудри; как звезды в темную ночь, светились ее глаза. Она выглянула и, увидев чужеземца, мгновенно скрылась.

Старик пожал Аносову руку:

— Я не знаю, кто ты. Но куда ты пойдешь в ночь, когда здесь будет тебе приют и пища?

Аносов присел к ложу больного и рассказал о своих поисках. Старик внимательно слушал; глаза его всыхнули, и он сказал горячо:

— Ты угадал в самый раз, у меня нет подмастерья, я научу тебя делать литые булаты.

Старик был последний знаменитый мастер дамасских литых булатов.

— Старое мастерство умирает; ты видишь мою бедную хижину и что стало со мною?

В убогой комнате по стенам было развешано драгоценное оружие. Указывая на него, старик сказал с гордостью:

— Эти клинки и дочь — последнее мое бо-

сатство. Путник, оставайся у меня, и ты познаешь мудрость старинного мастерства.

И Аносов остался в Дамаске.

Город, казавшийся издали пестрым и утопающим в зелени и благоухании садов, оказался грязным. Улички его были узкие, кривые, и всюду бродили стаи одичавших собак, разрывающих отбросы. В загрязненных канавах текла гнилая вода.

В крохотной мастерской работали хозяин и усталый, с равнодушным, закоптелым лицом подмастерье. Они долгими часами равномерно били тяжелыми молотками по пучку железной проволоки. Арабы делали самую ценную работу: они «холодным» способом, без накала на огне, ковали «джаухар» — узорчатую дамасскую сталь.

Аносов постепенно изо дня в день входил в тайны древнего искусства. Оно требовало большого терпения и сообразительности. Два года инженер работал подмастерьем и научился делать дамасские булаты. Он в совершенстве постиг мастерство старого дамасского мастера.

Прошло пять лет с того времени, как Аносов покинул Златбуст, и ему давно было пора возвращаться в Россию.

Старик Гусойн полюбил Аносова и, как знак величайшего доверия, предложил:

— Я отдам тебе мастерскую, а моя дочь пойдет к тебе в жены.

Вечерами на плоскую кровлю хижины выходила дочь хозяина. Она казалась героиней из сказок старого бухарского оружейника. Глядя на девушку, Аносов вздыхал и думал о родине.

— Скорей, скорей в Россию! — задумчиво шептал он.

На родине его давно считали погибшим, но он неожиданно явился в Златоуст и снова стал начальником завода.

Аносов вызвал старика Шевцова, заставив его поклясться перед образом и открыл ему тайну дамасского булата.

Наступил 1840 год, слава аносовских булатных клинков гремела по всей русской армии. Во всем мире не было лучших сабель, клинков, шашек, тесаков — златоустовских. . .

В долгие зимние вечера, уже стариком, Аносов, разглядывая иногда свои коллекции старинных булатов, вспоминал Дамаск, мастера Гусейна и его дочь.

Это было далеко позади. Там, в далеком Дамаске, умирало и забывалось замечательное мастерство, которое нашло себе вторую родину на суровом Урале.

8. ОБУХОВСКИЕ ПУШКИ

После Аносова начальником Златоустовского завода назначили инженера Павла Матвеевича Обухова. Высокий, дородный, с военной выправкой, он не уступал своему предшественнику ни по уму, ни по энергии. По приезде в Златоуст Обухов вызвал к себе старика-литейщика Шевцова и долго с ним беседовал. О чем они говорили — для заводских осталось тайной. Только с этой встречи между начальником завода и стариком установилась дружба.

Это были годы, когда под Севастополем лилась кровь русских солдат. Героизм севастопольских защитников всколыхнул всю страну. Но тут обнаружилось, насколько царская Рос-

сия была неподготовлена к обороне: интенданты разворовывали государственное имущество, оставляя солдат голодными и босыми; в армии все держалось на палочной дисциплине. Крепостная Россия одного не жалела — солдатской крови.

Обухов и старик Шевцов задумали неслыханное дело. Из литой булатной стали они смастерили кирасы, которые, как рубашки, надевались на тело, а при стрельбе на полсотню шагов пули не пробивали их. В глухих горах Обухов испытал кирасу на себе. Он обрядился в нее и заставил старика Шевцова стрелять. Литейщик долго колебался, но, понуждаемый инженером, перекрестился и бабахнул по кирасе. Она выдержала испытание. Обухов обнял и расцеловал взволнованного старика. Ободренный успехом, он повез свое изобретение в Санкт-Петербург.

К тому времени окончилась неудачная для России Крымская война. Жестокий царь Николай I покончил жизнь самоубийством. Шел 1857 год. Над Цевой стояли призрачные белые ночи, когда в Северную Пальмиру приехал инженер Обухов. Казалось, все предвещало успех.

Павел Матвеевич остановился в отеле француза Лербье на Невском, неподалеку от Знаменья. Француз в первый день подвел к нему юркого маклера. Человек этот был мал ростом, обезьяноподобен, с необыкновенно подвижными пальцами, унизанными кольцами.

— Меня зовут Мандельштам, — поклонился маклер. — Как истинный патриот, я очень рад познать вашу руку.

Мосье Лербье успел шепнуть на ухо Обухову:

— Это самый богатый человек здесь. Очень интересуется вашим изобретением.

Инженер поморщился и брезгливо подумал: «Шпион!»

Мандельштам несколько дней неотступно преследовал инженера Обухова, издалека заводил разговоры.

— У вас в руках жизнь одного знатного человека, — сказал он однажды ему. — О, если бы вы знали, как вас отблагодарят, если...

Маклер огляделся и, понизив голос, пообещал:

— Гвардейский поручик, князь будет стреляться на дуэли, и если господину Обухову угодно спасти ему жизнь, то мы согласны...

Обухов сразу все понял. Маклер был противен, как скользкая жаба, но инженер сдержался и спокойно спросил:

— Сколько?

— Это мне нравится, — поклонился маклер, — он может дать за секрет десять тысяч рублей.

Обухов посмотрел на собеседника и сказал:

— Вы хотите убить сразу двух зайцев: облагодетельствовать гвардейца и одну иностранную державу. Послушайте, у вас нет средств и сил, чтобы заставить меня изменить родине. Вы — шпион!

Он схватил назойливого гостя за шиворот и вытолкал из номера.

«Сей знак хорош, — обрадованно подумал Обухов. — Кирасы будут и нам потребны, коли иностранная разведка сим заинтересована».

В военном министерстве препоручили опытным людям испытать кирасы Обухова и только после этого доложили об изобретении господину министру.

Военный министр, оглядев кирасу, строго сказал начальнику Златоустовского завода:

— Нам пушки нужны, сударь, а не кирасы. Тратить на сие дело добротную сталь и защищать солдат от вражых пуль — невыгодно, сударь. В России, хвала богу, мужиков много и солдат дешев!

Пушки действительно нужны были. После Крымской войны стало ясно, что России нужна хорошая артиллерия. Пушки покупали у Круппа. Крупповская литая сталь славилась на весь мир, но обходилась военному ведомству в пятьдесят четыре рубля за пуд — деньги не малые. Шведские орудийные заводы Финспонга и Ставше продавали пушки дешевле, но они и качеством были хуже. Военный министр предложил Обухову:

— Подумайте, сударь, над пушками. Сталь вы научились варить отменную. Чую — будут и пушки добрые.

Обухов сдал кирасы в артиллерийский арсенал и, огорченный, уехал из Санкт-Петербурга. Мосье Лербье, пожимая руку инженера, укоризненно покачал головой:

— Сами видите, сколь не ценят здесь ваших хлопот, а между тем господин Мандельштам...

— Прощайте, — энергично прервал его Обухов, — и запомните, мосье Лербье: русские люди не продажны.

Осенью Обухов снова появился на Златоустовском заводе. Снова вдвоем со стариком они наедине беседовали. Вскоре стало известно: Обухов надумал отлить из добротной булатной стали пушку.

Дело подвигалось медленно. Были неудачи и в составе стали, и в литье, но все преодолели, и пушку Обухов отлил.

По санному пути ее доставили в Санкт-Петербург на артиллерийский полигон и сделали

ей испытание. Первая стальная пушка Обухова выстрелила четыре тысячи раз, и ни одной царапины не появилось в дуле. Тут уж и военный министр не утерпел.

— Вот видишь, сударь, отлил-таки получше Крупа! — похвалил он инженера и доложил о пушке государю.

Царь пожаловал Обухову десять тысяч рублей и приказал построить в Златоусте пушечный завод. Завод построили и назвали Князе-Михайловским, в честь великого князя Михаила Николаевича.

Пушки в Златоусте отливали для всей русской армии. Были они значительно лучше крупновских, а обходились казне по шестнадцать рублей пятьдесят копеек пуд.

Чтобы сталь была лучше, Обухов примешивал к булатной Аносова магнитный железняк, — металл получался необыкновенно крепкий и твердый. Сколько прибавлялось магнитного железняка, как и когда — знали только двое: Обухов и старик-литейщик Шевцов.

Так повелось: старые мастера не открывали секретов.

Обуховские пушки прогремели на весь мир, но златоустовские литейщики, редкие мастера по литью булатных сталей, жили попрежнему плохо: работали по четырнадцать часов в сутки и получали за огневую работу гроши.

Прошли годы. Не стало ни Обухова, ни старика-литейщика Шевцова, но память о них жива до сих пор. Умирая, старый литейщик передал секрет сыну. Он и был последним мастером, знавшим тайну литья булатов.

Среди старых мастеров сохранялся вековой обычай: тайну мастерства передавать по прямой родственной линии из поколения в поколение. Дед передавал секрет отцу, отец — сыну. Старик умирал одиноким — все его родственники давно порастерялись — и никому он не пожелал открыть секрет литья булатов. Сколько его ни уговаривали, сколько ни просили, мастер оставался непреклонным.

Почувяв приближение смерти, этот высокий сухой кержак с иконописным лицом сходил в баню, испарился, умылся, надел чистую рубаху и хрустящие липовые лапти: «В посконной рубахе да в липовых лапоточках скорее дойду до престола господа!»

Старик пособоровался, лег на скамью под иконы и замолчал.

В тесную избу приходили техники, мастера уговаривали умирающего поведать тайну литья булатов. Кержак нелюдимо отвернулся лицом к стене и не откликался.

Так и умер, унес секрет в могилу...

Прошло много лет. Победила Великая социалистическая революция. После долгих усилий златоустовские рабочие открыли секрет нержавеющей стали — булатов. Он стал общенародным достоянием нашей страны.

ИСТОРИЯ УРАЛЬСКИХ ИЗУМРУДОВ



Изумруд — весьма красивый камень привлекательного нежнозеленого цвета и ясной прозрачности. Морские волны иногда сверкают изумрудом и манят взор моряка. История изумруда-смарагда очень стара. Смарагд был одним из первых самоцветов, которые познал и оценил человек. О нем сохранил память для потомства древний историк Геродот. Египетские папирусы, расшифрованные учеными языковедами, рассказывают, что в главном храме было водружено изваяние священного быка Аписа, вырезанное искусным художником из изумруда. Драгоценные камни издавна пленяли воображение человека своей чудесной красотой и таинственными свойствами менять цвет в зависимости от освещения и огранки. В египетских пирамидах и в древних курганах нашей родины нередко находили перстни с изумрудами. Несмотря на такую седую древность, отыскать этот самоцвет у нас долго не удавалось. Всего только сто с небольшим лет тому назад —

в 1831 году — на Урале удалось напасть на изумрудные россыпи.

В тридцати пяти верстах от станции Баженово, в лесной даче екатеринбургского монетного двора протекает лесная речка Большой Рефт. В нее впадает немало ручьев, вытекающих из многочисленных глухих озерц. Эти крохотные озерки окружены зыбунами-болотами и чащобой. Поселяне заброшенных в эти углы раскольничьих сельбищ гнали деготь.

В погожий январский день крестьянин Белоярской волости Максим Кожевников отправился по санному пути в эти места в поисках сосновых пней и валежника, годного для выгонки смолы. С ним поехали два односельчанина. Они долго бродили по лесу, собирая подходящий лесной хлам. В своих поисках Максим отбился от товарищей и набрёл на огромный словый выворотень. Кругом лежали глубокие сугробы; выворотень был укутан пушистым снегом, который на солнце сверкал и переливался зеленым цветом — густые ели отсвечивали зеленью. Максим хотел вначале обойти выворотень, — не залегла бы под ним ненароком медвежья берлога, — но любопытство взяло свое. Утоная в сугробах, с топором в руках, он добрался до выворотня. На обвисших корнях крестьянин заметил намерзшие кристаллы и обломки прозрачного зеленого камня. На первый взгляд они очень походили на замерзшие сосульки или ледяшки, отсвечивающие на солнце зеленью. Но игра их была настолько чудесна и привлекательна, что смолокур невольно залюбовался, не утерпел и оторвал от корневища один камушек. Оказалось, что это не простая

сосулька, а красивый неизвестный самоцвет. К нему подошли товарищи и тоже заинтересовались зелеными кристалликами. Они стали копаться под корнями оирокинутой бурей ели и набрали по горсти прозрачных зеленых камушков.

Смолокуры решили, что найденные ими самоцветы есть аквамарины, и очень обрадовались добыче. Они отправились в Екатеринбург к гранильщикам и показали находку. Гранильщики охотно купили кристаллы, но они и сами не знали, что это за самоцветы.

Чудесная игра, блеск, прозрачность — все привлекало в камне, и гранильщики охотно взялись за его огранку. Слух о красивых, темно-зеленой воды самоцветах достиг до командира екатеринбургской гранильной фабрики Коковина. Он приказал немедленно доставить ему эти камушки и признал в них драгоценные изумруды. По существующему тогда закону отыскание и добывание самоцветов на всех казенных землях Уральского хребта составляло исключительное право екатеринбургской гранильной фабрики. Коковин быстро снарядил поисковую партию и отправился к месту находки. Стояла весна, снега уже стаяли, над болотами клубились туманы; одетые дымкой первой зелени, неузнаваемые стояли лес и поляны, но Максим Кожевников легко нашел дорогу к знакомому выворотню. Под наблюдением Коковина поисковые люди заложили шурфы и быстро дошли до слюдяного сланца. В слоях темносерого «сивака»¹ поблескивали кристаллы зеленого изу-

¹ «Сиваком» на Урале рабочие называют слюдяной сланец темносерого цвета.

изумруда. Некоторые из них были довольно крупны, и казалось, что в мутной облепившей их грязи глело зеленое пламя. Коковин понимал толк в самоцветах. Откопанные кристаллы своим густым цветом и прозрачностью несколько не уступали знаменитым колумбийским изумрудам.

Лучший из добытых кристаллов он поручил огранить самому опытному гранильщику. Верная рука гранильщика придала изумруду невиданный блеск и глубину. Казалось, в густой зелени переливался безбрежный океан. Со вздохом расстался старый мастер с рожденным им чудом. Изумруд этот отправили в далекий Санкт-Петербург в императорский кабинет. Придворные ювелиры долго наслаждались прекрасным зрелищем и единодушно решили, что камень-самоцвет достоин внимания государыни.

Изумруд имел успех, и придворная знать торопилась заручиться присылкой новых кристаллов.

В лето 1831 года Коковин начал деятельную разведку и разработку изумрудных копей. Партии ограненных камней время от времени отсылались в столицу. Изумруды стали самым замечательным самоцветом.

Не менее благожелательно отнесся к столь ценному самоцвету и сам Коковин. Он огранил лучшие кристаллы для своих перстней и других украшений. Все было бы ничего. Но вдруг в Петербурге в витринах частных ювелиров появились благородные изумруды. Почти одновременно в Париже тоже появились изумруды значительно лучше тех, которые предподнесены были Коковиным в императорский кабинет. Парижские ювелиры ценили их выше колумбийских за особую огранку — екатеринбургскую.

Это и погубило Коковина. Хотя было известно, что кержаки соседних с копиями селений тайком наезжали на Большой Рефт и собирали редкие кристаллы, однако над Коковиним было учинено следствие. Разгневанный государь велел его предать суду и засадить в тюрьму.

Пока шло дознание, паводили справки, Коковин умер в тюрьме, а с 1837 года добыча изумруда на Урале пошла на убыль.



НОВЕЛЛЫ О КРЕПОСТНОМ ПРАВЕ



НОВЕЛЛА ПЕРВАЯ

О сибирском помещике и крепостной любви

Жил помещик в Сибири, имел именьеце, крепостных, дворню. Среди дворовых славилась крепостная красавица Авдотья. Эту девку увидел сибирский свободный человек. Проходя мимо барского сельца, он встретил стройную, краснощекую красавицу. Шла она от колодца с полными ведрами; прохожий попросил попить. Они переглянулись, красавица потупила стыдливый взор...

И в эту минуту у них воспламенились сердца.

Тут сибирский свободный человек узнает, что его возлюбленная — крепостная. Однако это несколько не смутило его. «Крепостная — так крепостная», — решает он и идет к помещику с просьбой:

— Разрешите сочетаться с вашей крепостной девицей Дуней законным браком.

Помещик согласен.

— Только, — говорит, — выкупите раньше ее, а потом уж и женитесь.

Жених хоть и свободный человек, но в кармане у него ветер свищет.

— Извините, — говорит, — у меня нет денег, и я вполне могу за свою будущую жену отработать.

Для помещика это дело выгодное. В Сибири народу мало, в рабочих руках нехватка.

— Хорошо, — говорит помещик, — я согласен. Только отрабатывать тебе придется ровно двадцать лет.

На этом и сошлись.

Они садятся и пишут условие, которое нам сохранила история:

«1839 года, Января 20 дня, мы, сибирской провинции потомственный дворянин Иван Петрович Давыдов, изъявили свое решение и согласие на вступление в законный брак нашей дворовой девки Авдотьи, отроду двадцать пять годов, с мещанином Исетской провинции города Кургана Егором Деметьевым, за што оный обязуется и дает клятву перед богом служить мне двадцать годов. Всякое угождение мне, дворянину Ивану Петровичу, иметь от него, Егора. Копь приказы будут исходить от меня, выполнять оный обязан добросовестно и безотказно. Подушные же деньги за Егора вносим мы, а платье и обушку буде иметь свои ставший ко мне в услужение. А будущие с нею, Авдотьею, дети с ним мне, дворянину, — мужска пола, а им — женска...»

Пожили молодых. Стали они жить да работать, а помещик стал нажимать на батрака. Двадцать лет хоть и большой срок, но помещику хочется все выжать. Иногда и плетьюми

всыпали гражданину Егору Дементьеву. Хоть ты, дескать, и свободный человек, но раз пазвался груздем — полезай в кузов.

Вскоре у них ребята понили. Родила крепостная сначала Дуньку, потом Феклу, затем Домну. Девчата родились крепкие, растут, радуются. На шестом году баба Егора опять наспосях. Помещика досада разобрала. Как это так он жестоко ошибся? Женил крепких, здоровых, думал, мальчики в приплоде будут, и вдруг девочки. «Этак, — думает он, — совсем на голых бобах останешься».

Зовет он Егора и отказывается от условий:

— Не хочешь, уходи, а жена с детьми при мне останутся.

Батрак видит — дело дрянь. Куда от жены и от родных детей уйдешь? Жалко. Согласился на предложение барина изменить условие о младенцах: «Женска пола — барину, мужска — батраку».

Только порешили, а дворовая Авдотья, словно в отместку барину, родила сына.

И пошло так: родила Авдотья Ивана, Петра, Гаврилу, Федора.

Помещик сам не свой ходит. Как выйти из положения и повернуть дело к собственной выгоде?

После раздумья помещик решает больше не гадать на кофейной гуще и перезаключает второй раз условие со своим батраком. В нем пункт о детях изменяют таким образом: «А будущие впредь с нею, Авдотьсю, дети с ним, Давыдовым, пополам по выбору барина».

Курганский мещанин и туда и сюда. Никак не выходит, однако, дело. Закон на стороне помещика. Подписывай или уходи!

Куда уйти, когда срок скоро выходит, измотался весь, да старуху Авдотью жалко кинуть.

Так и дожили до сроку. Помещик отобрал себе лучшую половину ребят и говорит им:

— Теперь идите с богом, куда хотите. Вы свободны.

Егору и Авдотье стукнуло по сорок пять лет.

Каторжная работа на помещика не прошла для них бесследно. Они постарели и потеряли здоровье.

Срок договора кончился в январе, в самую лютую сибирскую пору. Мороз, бураны. У супругов ни теплой одежды, ни средств. Куда пойдешь?

Они стали просить барища:

— Разрешите остаться и дожить век. Все равно уже умирать скоро.

— Что вы, что вы! — замахал руками помещик. — Идите с миром. Вы теперь вольные люди, и я никакого права не имею вас задерживать.

Так и выгнал он их на мороз и голод. Ни часу не держал. А здоровых ребят себе оставил.

НОВЕЛЛА ВТОРАЯ

О борзой и крепостном мальчугане

В Рязанской губернии жительствовавший помещик Суханов — красноносый пьяница и буян. На всех конских ярмарках знали этого забулдыгу. Но он был дворянин и имел крепостных. Крепостного можно было истязать, жестоко бить и надругаться над ним. Лютость рязанского дворянчика поразила даже пристава, и он сделал помещику отеческое внушение.

— Как? — вспыхнул дворянин. — Мне делают внушение, и кто? Пристав!

Он взял перо, бумагу и написал приставу грозное послание.

«Никто не имеет права, — писал он, — вмешиваться в мое имение, нарушать незаконно мою власть, уверяя непокорных крестьян моих, будто они могут приносить жалобы на окончательные суды своего помещика к кому бы то ни было».

Пристав присмирел и не вмешивался больше в дела дворянина Суханова. А тому-то этого и надо было. Он все больше и больше распалялся в ярости и злодействовал. Не только взрослых, но и ребят стал истязать.

Выехал он раз с доезжими и стаей борзых на охоту и взял с собой двенадцатилетнего мальчугана. Мальчик должен был доглядеть зайцев и направлять борзых по следу. Приехали на опушку, разбрелся по кустам; загонщики крик, шум подняли, а зайцев нет как нет. Часа три промучились, но не бежит из ловцов зверь. Беда, да и только! И вдруг мальчуган заметил зайчишку. Он так и этак, барская борзая без толку мечется, а зверя не видит. Крикнуть — зажда спугаешь. Тогда он взял камушек и бросил в собаку: «Тсс!.. тсс!.. вправо бери!»

Камушек угодил барской собаке в ногу и зашиб ее. Что тут делать? У мальчишки оборвалось сердце. Ну, жди теперь от барина расправы!

Верно. Прокрутившись по опушкам да кустам часа четыре, помещик выбрался на поле и велел егерю трубить сбор. Все собрались. Тут помещик увидел, что у борзой подбита нога и она слегка прихрамывает.

— Ах, так! — закричал барин. — Кто это сделал? Всех пересеку плетью, если не скажете.

Окружающие видят: крепко заютовал хозяин — охота не состоялась, проголодался, надо же на кого-нибудь вину свалить. Не скажешь — всем скулы начнет сворачивать. И они указали на мальчишку. Помещик подъехал к мальчугану и заорал:

— Немедля раздеть его!

— Барин, родненький, — повалился мальчик в ноги помещику, — не бейте!

— Раздеть, раздеть немедленно! — не отступал лютый помещик.

Мальчика раздели и нагому приказали ему бежать. Он покорно побежал, а вслед за ним пустили вдогонку собак.

— Ату! — взмахнул плетью помещик и погнал травить мальчонку.

Егеря от жалости глаза закрыли. Но только борзые добегут до мальчика, понюхают и не трогают.

Тем часом материнское сердце затосковало по ребенку. «Как бы чего на охоте не стряслось, лютый барин-то больно!» — подумала крестьянка, побежала в поле и там увидела горькую беду. Ухватила она свое детище в охапку. Барин велел оттащить сердобольную мать и опять пустить собак. Мать от ужаса в тот же день помешалась.

Собаки поцарапали мальчугана, но заесть не заели.

Подбегут, понюхают и отойдут прочь. Собакам стало за человека совестно.

Видя эту картину, помещик уцерся в бока и захохотал:

Цоп-цоп... парика нет. Она к клетке — клетка пуста. Поминай, как звали нашего Ваню. От ярости она закричала, сбежалась вся дворня.

Тут все ахнули и попяли, почему княгиня в клетке за соловья держала парикмахера. Голова прелестной княгини была голенькая, как колено, и блестела, как бильярдный шар.

Но не этого пугалась княгиня, а того — куда сбежал парикмахер и где он объявится. При этом у каждого человека язык имеется. И если, оборони господь, графиня Нарышкина узнает, она всем кавалерам скажет:

— Ах, какое несчастье! У княгини Салтыковой...

И тут пошепчет на ушко.

В таких мыслях и опасениях светлейшая княгиня Салтыкова садится и пишет самому императору Александру I такого содержания письмо:

«Ваше императорское величество,

зная ваше благожелательное отношение к нашему семейству, осмеливаюсь просить вас, припав к августейшим стопам, пощадить нас и дать строгое распоряжение господину градоначальнику Санкт-Петербурга сыскать немедленно сбежавшего крепостного нашего Ивашку. Сей злодей проник в кабинет князя и похитил важную государственную тайну. Князь Салтыков, верно-подданный ваш слуга и мой благосклонный супруг, о сем не знает. Да пощадит ваша монаршая воля его и да отыщут злодея государств!»

Пребывая в верноподданных чувствах к вам, ваше величество,

гофfreyлина вашего императорского двора

княгиня Салтыкова».

Царь в первую минуту струсил, во вторую разъярился.

— Как смел этот старый солдафон проворонить государственную тайну? Сыскать государственного злодея пемедля!

Через два дня Санкт-Петербургская полиция досконально дозналась, в чем дело. Госнодир Санкт-Петербургский градоначальник доложил царю о несчастном парикмахере и государственной тайне графини.

Царь хватался за живот, катался по дивану и хохотал.

Повеселившись, император Александр I написал на докладе Санкт-Петербургского градоначальника резолюцию:

«Считать беглого крепостного парикмахера утопшим и на берегу Невы найти его тело...»



ЗОЛОТАЯ ГРАМОТА



Никите Корчагину семьдесят пять лет, однако он крепкий старик. Кость у него широкая, борода кержацкая, рука верная, сильная. С такими ценными руками только за землей ходить, но всю свою жизнь пришлось Никите вековать пастухом. Мечтал Никита о земле, а она, как жар-птица, улетала из-под самых рук. О земле мечтали отец и мать Никиты, о земле мечтали все крестьяне. И в мечтах шли они трудными и опасными путями-дорогами, шли ощупью, поливая их мужицкими кровью и потом.

ПОХОД КРЕПОСТНЫХ К ПЕРЕКОП-ГОРЕ

В 1856 году, когда Никите было пятнадцать лет, на фоминой неделе в деревню набрел слепой старец с древними гуслими; уселся он на завалинке. Его окружили мужики.

Старец поднял к небу невидящие глаза и заел протяжным голосом песню. Завет-

ное поднял слепец — смутил крестьянскую душу...

После ухода старца, в самый пахотный разгар, неожиданно-негаданно поднялись ливенские крепостные, торопливо покладили на телеги свой немудрый скарб и, как чумаки, потянули на полудень.

Ливенский барин Собакин с четырьмя лютыми доезжими нагнал крепостных и пригрозил расправой. Крепостные загладели, мигом стащили доозжих с коней и от чистого сердца выпороли, напомнили им старую хлеб-соль. Барина, однако, не тронули. Из обозка вышел батька Пикиты — крепкий, бородатый пашенник Христофор Корчагин. С лицом темнее грозовой тучи он показал барину на проселок:

— Уноси от греха ноги, пока не разгорелась крестьянская душа, ежели вспыхнет — опоздаешь. Пеняй тогда на себя, барин!

Дворянин и вершники повернули коней — ехать дальше было весьма опасно. Мужики неспроста пригрозили.

Обоз, не сворачивая, шел по древнему чумацкому тракту; над ним клубилась серая едкая пыль, кричали дети, ржали кони, мычали коровы, небрежилось собачье. Из попутных деревенок навстречу ливенским крестьянам выходили крепостные соседних дворян. Христофор Корчагин рукавом посконной рубахи вытирал пот на крутом лбу, размахивал руками и горячо рассказывал им о близкой воле.

Страстные Христофоровы речи подымали мужиков. Крепостные соседних дворян тоже внезапно поднимались, запрягали коней, складывали на телеги убогий скарб и трогались на полудень.

Вперед обозов шла молва: «В голубом Крыму на Перекоп-горе сидит мужицкий царь в золотой шапке, в руках у него золотая грамота, и кто первый придет и получит золотую грамоту — тому земля и вольная воля. Кто припоздает — не видать ему радости».

Спимались крепостные с мест древними крестьянскими родами, селами, деревнями, добывали ружья, лили по кузням пули, перековывали лемени в пики, насаживали косы на короткие уручины и шли на полудеь за золотой грамотой.

Поднялись тамбовские, орловские, витебские, тронулись в путь псковские — к Перекоп-горе за золотой грамотой.

Днем расплывалось степное марево, томила жажда. Ночью серебристой россыпью через все темное небо блестела «Чумацкая дорога»¹ да на травах сверкали прохладные росы.

По дорогам, проселкам, по забытым запуткам скрипели обозы. Двигались крепостные ватажками, партиями в пятьсот человек, в тыщу. В попутных городках начальство навстречу им поднимало ивальные команды. Кремневые ружьишки да ржавые сабельки внору были для огородных пугал; кремневые ружьишки плохо стреляли, давали осечку, захудалые офицеришки нерасторопны были: крестьянские ватажки разгоняли инвалидов и прорывались дальше.

Проходили они села, городки, кой-где перестреливались, теряли от огневого боя людишек, но шли.

Христофор Корчагин торопил людей:

— Поспешай к Перекоп-горе за золотой грамотой! А и в той золотой грамоте, — на-

¹ В народе так назывался Млечный путь.

писал мужицкий царь, — господ дворян казнить-вешать, чиновных людишек гнать, не платить подушных да податей, а землю под себя брать. Ой, как гоже!

Густели ватажки, удлинялись тучи пыли. Гудела земля под копытом.

На десятый день в степном мареве за курганами внезапно заблестели каски, затрубили трубы, загрохотали барабаны. Из конного войска навстречу мужикам выехал офицер, одетый в блестящее, и на каске, как у петуха, перья. Поднял руку:

— Стой, куда идете? Кто такие?

От крестьянских обозков вышел Христофор Корчагин. Он был в белой посконной рубашке, без шапки, простой и строгий. Батяка поклонился офицеру, показал на полудень и сказал строго:

— Крепостные, а торопимся к Перекоп-горе к мужицкому царю за золотой грамотой.

Офицер прищурился:

— Сколь предерзостные речи слышу. На Руси есть его императорское величество один и всемогущ, а мужицких царей не слыхано было!

Христофор Корчагин пригрозил:

— Ты нам, сударь, давай путь-дорогу.

Офицер побагровел, его серый конь в золоченой сбруе нетерпеливо перебирал ногами.

— Поворачивай, холощье, разъезжайся. Стрелять будем! — пригрозил офицер.

Христофор Корчагин не сдался, повернулся к крестьянам, махнул рукой:

— Пошли на полудень!

От края до края степи закрипели возы, зашумели люди, и тронулись крестьянские

обозки. Шли крестьяне безмерно отважно и не-
удержимо вперед. Кто с туркой, кто с косовьем,
кто с дубьем, кто с ружьишком.

И тогда из-за курганов выехал гренадер-
ский принца Вюртембергского полк. Звон про-
шел от края до края степи: зазвенели гrena-
дерские сабли.

Началась резня. . .

Мужики бегали по степи с кольями, дрючьями,
вилами. Христофор Корчагин с туркой шел вне-
ред, а рядом бежал Никита.

— Братцы, не сдавай! — кричал Христо-
фор. — Пробиваться к Черекон-горе! — разма-
хивал он дубьем.

Но вершники в латах рубили крестьянские
головы; гибли бабы, ребяташки. Ржали гrena-
дерские кони.

Христофор свалил туркой двух вершников
паземь, но его оглушили.

Никита синал к дальним курганам, над ними
кружил стеной стервятник, поджидая добычу.

По степи в проголос выли бабы, металась
домашняя скотина.

Когда пришел Никита в себя, увидел — по
степным проселкам раскиданы порубанные люди,
загубленные кони, поломанные тележки. Неда-
леко от него лежал мертвяк; томила жара, лицо
мертвяка вздулось, позеленело, и над сукрови-
цей назойливо гудели большие зеленые мухи.
Вдали по степи курилась пыль — царские верш-
ники гнали табуном пленных крепостных.

Никите стало страшно, он собрался с си-
лами, уполз в овраг и побрел, куда глаза глядят.

По барским деревенькам, мимо которых про-
ходил Никита, выли бабы, стоял стон, — господа
чинили над беглецами расправу: били плеть-

ми-батогами, заковывали в рогатки да в колodки.

На третий день Никиту настиг елисавет польский князь Сандригайло, преакрепко огрел мальчика плетью и велел итти впереди коня. Невыносимо ныла перешибленная плетью ключица, но надо было итти — барин не спускал с него зорких глаз.

Князь пригнал Никиту на усадьбишку. Никита раскрыл рот:

— Мы собакинские.

— Хошь собакины, хошь сукины, а теперь ты мой, и вот тебе воля, земля и хозяин!

Барин показал в зажатом кулаке плеть.

— Будешь ты псарем! Понял?

Никита понурил голову, исподлобья посмотрел на князя. Князь пригрозил:

— Ну, ну, ты не гляди волком, а то и арканы есть.

Стал Никита псарем. Обхаживал на псарне собак, целый день в ушах лай стоял. Кормили барских собак знатно, по три раза в день. Барские люди завидовали псарной жизни. Ходили крепостные отощавшие, скудые, подтянув животы.

Шла жизнь Никиты возле псов тягучая и тоскливая, а сердце жгла каленая ненависть к барину.

Так и жил Никита.

БАРСКАЯ «ВОЛЯ» И МУЖИЦКАЯ ДОЛЯ

В 1861 году исполнилось Никите Корчагину двадцать лет. В великом посту, когда ладил к пахоте сохи да бороны, князь Сандригайло созвал крепостных и прочитал царский мани-

фест. Ходили до того слухи, — занесли отставные солдаты, — что ждут крепостных вольная земля да земля. Написал царь манифест в золотую строку, да упрятали господа эту бумагу с золотыми строками.

Ходили люди что шалые, не терпелось. Скорей бы уж!

Князь изшел на крылечко, глянул на крепостных, те поскидали шапки. Ждут золотую строку.

Барин прокашлялся и стал тянуть каждое слово неторопоко.

«Осени себя крестным знаменем, православный народ», — барский голос стал торжественным; крестьяне не противились назиданию, осенили себя крестным знаменем и ждали самого главного — золотой строки.

А ее нет и нет...

Князь кончил читать, стала тишина, крепостные не расходились.

— Что же вы? — посмотрел на них барин.

Крестьяне не шелохнулись:

— Да вот, золотой строки ждем.

Барин поперхнулся, свернул манифест, достал из кармана книжицу.

— Вот «Положение об освобождении крестьян». Может это?

— Может и оно, — ответили они. — Ты нам дай его, батюшка; глядишь — и найдем в нем золотую строку!

— Ладно! — согласился помещик, отдал книгу, и крестьяне разошлись.

Пошла книга по рукам, а никто из крепостных не знает грамоте. Где тут золотая строка, где простая — поди, разберись!

Царь Никита от дворовых людишек один

познал грамоту, ходил по покойникам читать, псалтырь. Решил послужить народу.

Уселись крестьяне искать золотую строку. Три ночи сиднем сидели, лучину жгли; худо читалось при неверном дрожащем свете, и ничего не находил Никита в книжиде. Только в четвертую ночь споткнулся чтец на мудреные ониксы.¹ В образце уставной грамоты значилось:

дворовых	00
крестьян	00
земли	00

Притихли мужики, призадумались. Что это?

Трое дён кручинился Никита над ониксами, думал-передумывал. Заговорила в нем горячая корчагинская кровь, каленая ненависть к барину, и разъяснил Никита крестьянам эти ониксы так:

— Ониксы значут: «помещику земли — горы да доли, овраги да дороги, песок да камыши. Лесу им ни прута! Переступит он шаг со своей земли — гони добрым словом, не послушается — секи ему голову, получишь от царя награду». Вот она — золотая строка!

— Верно. Она и есть золотая строка! — обрадовались крестьяне. — Лучше и не придумаешь!

Утром пошел на усадьбу к барину. Видит барин — худо дело, вскочил на вороного и ускакал.

Через два дня в усадьбу наехали полковник да рота солдат. Согнали всех людишек на барский двор. На крыльцо вышел полковник, сдвинул седые брови:

¹ Ониксы — нули.

— Кто читал книгу?

Никита не дрогнув, вышел, поклонился в пояс:

— Я читал.

Офицер сверкнул злым глазом.

— Что ты, холоп, вычитал?

— Золотую строку!

Рассказал Никита свое толкование. Полковник выслушал его терпеливо, расправил усы, крикнул:

— Верно. Это и есть золотая строка, но только она не для мужика написана, а для барина.

Полковник перевел дух и сказал:

— Эту золотую строку читать надо так: «мужику земли — горы да доли, овраги да дороги, песок да камыши. Лесу им ни прута! Переступит он шаг со своей земли — гони добрым словом, не послушается — секи ему голову, получишь от царя награду». Понятно, холопы?

Он обвел всех строгим взглядом. Крестьяне молчали. Скликал полковник двух солдат, содрали они с Никиты портки и крепко высекли.

— Вот вам и строка золотая! Записываю на сем месте для памяти, чтобы навек помнили, чья земля!

Вскоре в усадьбу приехали межевые, они отмежевали от мужиков покосы да добрые земли, а оставили им пески, буераки да болота. Ни прогонов, ни лесу. Хочешь — живи, хочешь — умирай!

Никиту привели к барину. Велел он еще раз на конюшню его отнороть и услад пасти коров.

Стал с той поры Никита пастушить. Горьгорькое!

ИЛИ ГОДЫ КРЕСТЬЯНЕ ЗЕМЛИ НЕ ПОЛУЧАЛИ

Последний потомок Сандригайло по последней крови был лют и злобствующ, но мелко-травчатый пьяница. Подходило Никите под пятьдесят годов, видел он, как богатые мужики бросились скучать у барина землю. На деревне завелись свои выжималы, цепкие да жадные до чужой крови. Пастушил Никита и мечтал о своей земле, но упорно не давалась она в руки своему подлинному хозяину.

В 1905 году Никите было шестьдесят четыре года, умерла у него старуха, пошел Никита в барский лес, свалил для домовины лесину; за этим делом его и накрыл барский ловчий.

На эту пору наехали мужики, избили ловчего и стали валить барский корабельный лес, надоело людям маяться в кривобоких хатенках. Того и гляди, придавят жильцов, притом лес растили своими трудами деды и прадеды крестьян.

Князь Сандригайло не сдался, привел казачью сотню. Деревню от малого до седого перепороли, лес отобрали, а Никиту и десятка два односельцев угнали в губернский острог.

Три года отбыл Никита в остроге, неся неугасимую ненависть к помещику.

НИКИТА КОРЧАГИН ИЩЕТ ЗЕМЛЮ

Тягуче шли тяжелые, как камень, как горе, годы. Так не приметно подошел семнадцатый год. По весне в теплый сгорьев день Никита выгнал на барские выгоны отощавшее за зиму деревенское стадо. Коровенки от радости мы-

или, телята прыгали по лугу; только степенный черный бык «Монашья радость», стоя на позеленевшем взлобке, молча осматривал буренок. По загонам суетливо метался мокрый от росы пес Лохмач.

Никита скинул шапку, сел у камня и смотрел на бегущие облака. Пастух, наслаждаясь, глубоко вздохнул:

— Вот когда пришло оно! Теперь мы всю барскую землю заграбастаем.

Кругом лежали помещичьи земли, привольные, тучные, а рядом — полоски отощавшей мужичьей земли.

Из подернутых зеленой дымкой кустов выскочил барский холоуй Селезень, сгреб старика за шиворот и стал честить его тумаками. Жеребья морда холоуя перекосилась. Оскалив желтые лошадиные зубы и брызгая слюной, под каждый отпущенный старику тумака холоуй выкрикивал:

— На барское позарился? Так. Раз-з! Мать твою в левое копыто срази громом. Этак! Д-ва!.. Их-х!

Старик крикнул:

— Ты пошто, сука!

Пастух хотел схватить палку, но холоуй сгреб его за длинную седую бороду и стал кружить:

— Исайя, ликуй. Так, тр-ри!

В стаде начался переполох. Лохмач с яростным лаем кидался под ноги Селезню, стремился схватить его зубами за икры. Увертливый холоуй отбрыкивался, ожесточенно дергал Никиту за седую бороду и покрикивал:

— И пес в лахудру. Батьку твоего в правую поздю ударь молипей. Так. Четыр-ре!

Над березовой рощей с граем поднялось воронье.

Крестьяне-пахари заметили избиение деревенского настуха, вспыхнула кровная обида. Побросав в борозде саврасок, сохи, косули, бороны, кто с кнутовищем, кто с палкой, кто с вожжами, — через поле бежали напрямик к барским выгонам.

Мужики отбили Никиту, барского служку, опрокинули на землю и разделались по-своему.

Князь Сандригаило в тот же день телеграфировал губернскому комиссару Временного правительства:

«Мужики окрестных деревень самоуправно захватили земли моего имения, избили до полусмерти моего дворового человека. Есть сведения, что готовится разгром усадьбы. Земельный комитет не в состоянии справиться с анархией. Руководят земельным захватом крестьяне Корчагины. Шлите защиту».

Однако волостной земельный комитет отстоял помещичью землю. Крестьяне упустили время для пахоты.

В сердце Никиты закипела вековая ярость к помещикам. Собрал он котомку, ~~дарты~~ и в один солнечный день поклонился крестьянскому сходу:

— Простите на том, не могу настуховать. Пойду искать правов на землю. Царя скинули, а крестьянам земли все нет. Что же это такое?

Родные уговаривали:

— Куда ты пойдешь, старый? Много ли тебе земли надо? Поди, одна косая сажень.

Никита помрачнел, насунил брови, — заговорила в нем кровь древних нашенников, вспом-

шил батю Христофора Корчагина и сказал твердо, бесповоротно:

— Весь свет пройду, а землю найду. Земля ждет настоящего хозяина, и хозяин тот — мы.

В низине гулял туман, по дороге важно шагала одинокая верона. Никита поправил заплечную котомку, оглянулся на родные места и тронулся в поход.

КАК МАЯЛСЯ НИКИТА У ЭСЕРОВ

Целое лето скитался Никита по городам и вокзалам, сухари поиреял он в первую неделю. Протягивать руку стыдно, — крепкий и здоровый еще Никита, работать может. Кому груз поднести поможет, кому дрова поколет, — глядишь, и сыт.

В уездном городе сунулся Никита к комиссару Временного правительства. Прошел Никита в кабинет. За столом сидел молодой чистенький офицерик. Глаз у пастуха зоркий. Глянул и признал в нем Никита племянника князя Сандригайло, — в кои годы наезжал он к дяде на несвую охоту.

Крякнул Никита, насунился и повернул обратно: «Не туда пошел».

— Верно, старик, не туда угодил, — засмеялся офицерик, но Никита не дослушал, сердито сплюнул и пошел прочь.

«Конечно, — рассуждал Никита, — края тут близкие, князю рукой подать... Подамся я в губернию... Туда, барин, не скоро руку дотянешь».

Помучился Никита, а до губернского города добрался. Всю дорогу поражался Никита виден-

ному. Там, где когда-то лежали стены, белели города, вдоль старого чумацкого тракта потянулась чугушка. Сильно изменились места за шестьдесят годов.

Месяц маялся Никита, добираясь до губернского начальства. И писаря не пускали, и чиновные люди страшали, и оттого хуже разгоралось упрямство.

— Хочу видеть губернского начальника! — не отставал Никита. — Добьюсь.

И добился. В исходе лета допустили Никиту к губернскому начальству. Главный писарь изогнулся перед начальником в три погибели:

— Извините, тут чудной мужичок целый месяц ходит, добивается увидеть вас.

Впустили Никиту в кабинет. Из-за стола поднялся бородатый человек в очках; плечи у человека широкие, лицо румяное. «Ничего, положительный мужик», — прикинул Никита.

Начальник поглядел на мужицкие лапти.

— Делегат?

Не знает Никита, что и сказать, а сказать надо мудрое и вразумительное. Правилось ему одно словцо, он с него и начал.

— Положим, — поклонился Никита. — Я насчет земли.

Начальник потрогал свою пушистую бороду, прищурился на Никиту; положительно ему понравился этот крепкий мужик с кержацкой бородищей. Он потер руки:

— Вот и хорошо, что делегат. Садись, папаша. Я — представитель партии эсеров.

— Чего? — переспросил Никита.

— Эсеров. Мы хлопочем для мужика землю.

Никита просиял:

— Это добро!

— Хорошо, — подтвердил начальник, хапнул
лок своей бороды и засунул в рот. Походил
минуту по комнате и остановился перед
Никитой. — Смутьянщики говорят мужикам:
«Идите и берите землю». Хорошо это? Может,
и хорошо. Но... — Начальник передохнул: —
Но подумать только: вот земли помещичьи, вот
городские, вот церковные, вот крестьянские.
Сложный переплет! — Он поднял указательный
палец. — Очень сложный! Только учредительное
собрание сможет разобраться в этом сложном
переплете. Только...

Никита встал, крикнул:

— А чего тут разбираться? Все земли сме-
шать в одно и отдать тому, кто сам за сохой
ходит. Вот оно што!

— Большевик! Разбойник! — заорал вдруг
начальник; он покраснел, как индюк, и пошел
на Никиту.

— Ну, ну, ты не очень! — осмелел Никита
и посунул начальника в сторону.

Никита не знал светского обращения, и
когда на него набросились, он спокойно ткнул
начальника в бок. Никиту арестовали и поса-
дили в губернскую тюрьму.

НИКИТА ОТПРАВЛЯЕТСЯ К ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ — ЛЕНИНУ

Долго сидеть бы Никите в тюрьме, да
попался добрый солдат-караульный. Когда вели
Никиту в баню, он и говорит:

Ты, дед, не зевай. Беги! От господ да
эсеров земли не жди; треплются они, как гар-
низонная шлюха. И беги ты. — подсказал солдат

Никите, — в город Питер. А и в том городе появился наш человек. Зовут его Ленин. Сидит он и думает, как отвоювать мир и для мужика землю.

Упустил солдат Никиту. Долго после того орловский пастух кружил по городам да по вокзалам. Его ссаживали с поездов — он шел пенком; его задерживали — он уходил.

В теплушках, на постоянных дворах пастух жадно расспрашивал про Питер и про Ленина. Рассказывая про свою тяжелую долгую жизнь, Никита хвалился:

— Я человек крепкий, настоящий крестьянин, весь землей пронах, а сижу без земли. Шестьдесят лет я ее поджидаю. Я ее не уищу, кормилицу. Я ее заграбастаю. Про меня прознал один умный человек — Ленин! Вот и пишет он мне письмо: «Приезжай, Никитушка, ко мне в Питер. Скоро мы завоюем власть, надо мне советчика — писать земельные законы». Вон оно как! — сияло лицо Никиты.

Не хотел Никита, а врал, сладко вралось. Сильно поверил Никита в Ленина, прирос к нему сердцем, и хотелось сделать его еще ближе, роднее. На постоянных дворах мужики почтительно сказывали про Никиту:

— К Ленину едет насчет земли законы писать. Сам вызвал старого. Вон оно как!

Мужики подкакивались; Никита охотно рассказывал, а они верили — больно хотелось верить — и расспрашивали про Ленина:

— Каков из себя Ленин-то?

Пастух, сам в то веря, расписывал:

— Ленин — наш орловский мужик. Из крепостных. Ростом крепок, здоровуц. Бородаща — во! По-пояс. Ума — палата!

Власть Никита рассказывал о Ленине, власть слушали его мужики про дорогого человека.

В поездах пассажиры поили Никиту чаем, отдавали последний хлеб:

— Как же, человек едет к самому Ленину!

В эти денечки жил Никита в приятном ожидании; сам не знал, а сердце подсказывало радость.

В ХОЛОДНУЮ ОКТЯБРЬСКУЮ НОЧЬ

Моросил дождь, дул холодный ветер. Вышел Никита с Николаевского вокзала на Знаменскую площадь. Народищу-то! Когда только успели народить? Посредине площади на чугунном коне сидел бородатый идол. Никита трижды обошел его, оглядел по-хозяйски:

— Их-х, сколь доброго железа порастратили!

Часы пробили полночь. Над городом стлала тьма. Дождь перестал хлестать, пошел снежок.

«Куда пойти, где Ленин?» — подумал Никита, и одиночество охватило его. Он стоял на перепутьи с котомкой за плечами.

— Эй, земляк, кого ищешь? — на Никиту смотрели веселые глаза мастерового.

— Да вот, Ленину вызвал, а адрес-то я и забыл. Эх, дурья память, — поскреб затылок насух.

— Валяй в Смольный! Вот там остановка трамвая, номер тринадцатый. Садись!

«Ух, — вздохнул Никита. — Вот когда подошло. Что же я ему скажу?» — растерялся он вдруг.

Какне-то рабочие посадили Никиту в трамвай. Он уселся и всему удивился: и вещам и

людям. Рабочие ехали с ружьями. Трамвай грохотал.

«Что же я ему скажу?—не оставляла наойливая мысль Никиту.—Зачем только я врал?»

Трамвай вдруг остановился, кондуктор закричал:

— Сделай, дальше не поедет!

Рабочие повыскочили, Никита за ними:

— Где же тут Смольный?

У старика, хватился. Смольный-то в другой стороне. Эх, не туда поехал.

Где-то за углом стреляли. Никите стало не по себе. Как страшный сон, он вспомнил стень, гранатеров и смерть отца.

— Что это? — поднял он глаза на рабочего.

Рабочий был старый, седоусый, — улыбнулся.

— По буржуям стреляют. У нас сегодня именины, папаша. Идем воевать — за свободу и землю. Айда с нами!

Никита взял винтовку; он оглядел ее похозяйски:

— Вот это да!

Черноглазый солдат хлопнул деда по плечу:

— Ничь ты какой, громоздкий, а проворный!

— Ничь, смельной! Как вырну в бок. духи с сарапа. Во как!

С Невы рвался озверелый ветер, под лаятами хлюпажа грязь. Впереди в темени мрачной громадной стоял царский дворец. Никита вместе с рабочими и солдатами бежал к нему.

Из-за серых поленниц часто и устрашающе стреляли, но Никита не чувял ни страха, ни усталости, по-молодому в нем взъярилась кровь, вином закипела.

С Невы грохотали из пушек. Старик вместе с другими опрокинул врага, ворвался во дворец.

Лапти оставляли на паркете грязный след. Борода у Никиты развевалась белым парусом; из-под насуленных бровей, как накаленные шилья, жгли острые глаза. Он, как вихрь в полюшке, налетел на офицера и сразбегу вогнал ему в грудь штык.

— За батьку! — крикнул Никита.

На деда бросились юнкеры, он крикнул, оскандился и с яростью стал крушить прикладом вражьи головы:

— За мужаков! Их-х!

Когда вбежали в покои, где отсиживались министры, Никита, не помня себя, рванул острием штыка вперед. Перед ним колыхнулось брюхо, на нем змейкой дрожала золотая цепочка.

— Ур-ра! — заорал Никита и хотел полоснуть министра по пузу.

— Стой, погоди! — перехватили рабочие штык. — Их судить будут.

— Чего там! — сердито отвернулся Никита и засовел.

От дворца Никита пошел с рабочим отрядом к Смольному. Сердце стучало гулко, отчетливо, как дятел в бортовую сосну. Горела кровь. Никита расправил бороду:

Ну вот, увижу его и о земле расскажу.

ЗОЛОТАЯ ГРАМОТА

Перед Смольным горели костры, возле них толпились люди. На подъезде стояли орудия, пулеметы; из огромных дверей волной выхлестывал парок. Никиту, как в водоворот, потащило, и он оступился в длинном широком коридоре.

«Эка машина! — поразился Никита и почув-

ствовал, как на ноге сползла портянка и вполочилась по земле. — Не гоже, — подумал Никита, — переобуться бы».

Гулко звучали под сводами голоса: по коридору суетились рабочие, солдаты, матросы. Никита отошел в сторону, видит — полуоткрытая дверь. Заглянул. За дверью — пустая комната, и есть в ней только стол да стул. Никита вошел в комнату, сел прямо на пол и, кряхтя, перевернул портянку. «Вот и гоже», — полюбовался Никита на свою работу и встал.

Из соседней комнаты приоткрылась дверь, и в нее просунулась рыжеватая борода. В Никиту уставились темные острые глаза. Человек поманил Никиту.

Дед крикнул, по-хозяйски указав на стул:
— Садись...

Невысокий плотный человек бочком прошел в комнату к Никите. Одно плечо он держал пониже другого, большие пальцы рук загнул подмышками за жилетку, сощурил глаза.

— Давно из деревни?

— Только што. Орловский я. Во как!

— Это хорошо.

Никита покосился на бойкого человека: «Чего ему надоть?»

— Ты бы, мил человек, сказал, как к Ленину пройти насчет земли? — нахмурил брови Никита.

Невысокий человек потер лоб, — лоб у него широкий, круглый, как добрая чаша.

— Гм... гм... Насчет земли? А ты послушай, что я тебе прочитаю. — Он вытащил из кармана бумагу, лукаво сощурился на Никиту: — Ты послушай, а потом присоветуешь. Вот...

Он внятно и хорошо прочитал:

«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа».

У Никиты захватило дух, дрогнуло сердце:
— Читай даде!

Чтец покосился на Никиту, улыбунулся:
— Слушай!

И он прочитал ему грамоту о земле.

— Стой!— схватил Никита человека за руку. —

Стой, где добыл эту золотую грамоту?

— Ну и дела!— усмехнулся бойкий человек. —

Да ты что?

— Мы ее, может, годы ждали. А ты... —

У Никиты пересохло в горле.

— Это закон о земле... Ленин его хочет сейчас на съезде прочитать. Ладно?..

Никита обласил человека.

— Милый ты мой. ах ты!.. Будь истин другом, сведи к Ленину-то. Скажи ему, что прибыл орловский мужик Никита Корчагин, он-то уж знает. Я ж ему земляк... Уж как его хочу видеть... Во как!

Никита ладницами сгреб человека за плечи.

— Каков из себя, хоть одним глазом глянуть. Высоченный, вебось, бородаща с мою, широкой кости. Известно, орловский... Сведи, будь истин другом... —

Человек с рыжеватой бородкой дернул плечом, усмехнулся:

— Ты меня извини, мне некогда, а попасть к Ленину можно, торонись на заседание съезда в конец коридора, направо зал... Неизменно он придет сейчас туда... —

Никита крепко сжал руку нового знакомого и бегом пробежал к залу. Там — шум, огни, горячие лица...

Слышит Никита — твердый солдатский голос говорит:

— Слово имеет товарищ Ленин...

«Ленин! — колыхнулась радость во всем огромном теле Никиты. — Ленин!»

Поднял дед глаза и обомлел.

На трибуну поднимался крепкий человек с рыжеватой бородкой, тот самый, которого Никита обнимал. Никита головой тряхнул: не почудилось ли? Нет, и вправду он. Ленин обвел всех приветливым взглядом.

Никите почудилось, что Ленин глянул именно на него, что он сощурил глаз, подмигнув именно ему одному, словно хотел сказать: «Гляди, сейчас прочитаем...»

Ленин прочел первый декрет о земле.

Под Никитой горела земля; жгла радость, и тут же поднималась досада на себя: «Ух, и дураком, что же я наделал! Похвастал, будто и впрямь ему земляк!»

Кругом шумели, кричали «ура».

Никиту подхватила волна народу и вынесла на подъезд.

У подъезда строились в боевые колонны рабочие отряды, шли в город.

Через день Никита ехал на родину. За пазухой у сердца лежал первый декрет о земле.

«Вот она — золотая грамота! На семьдесят шестом году дождался-таки! Эх, и заживем, Никита Христофорович!»

Играло-вело сердце. Ходил Никита по вагону и всем рассказывал, как он видел Ленина и какая у него ясная да солнечная улыбка.

СОДЕРЖАНИЕ

Шадринский гусь	3
Необыкновенное возмещение Саввы Собакина	32
Псыноголовый Христофор	71
Повесть о злочюченнах первого русского золотоискателя	85
Челяба	114
Повесть о булате	167
История уральских изумрудов	200
Новеллы о крепостном праве	205
Золотая грамота	215

Отв. редактор А. Кривошеина.
M1225 СЦ—1/Л. Тираж 5000.
Подписано к печати 3/II 1941 г.
Печ. л. 7⁷/₁₆. Уч.-изд. л. 9,28.

Ленгиздат — типография № 2.
Ленинград, Социалистическая, 14.
Заказ № 6019.

3 р. 50 к. Переплет 1 р. 50 к.